

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ XVII ВЕКА

АВВАКУМ

ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА
ИМ САМИМ НАПИСАННОЕ



im WERDEN-VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003



© Составление и оформление: «Im Werden Verlag», 2002, 2003 (исправлено)

<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

Краткая биография Аввакума Петровича из Энциклопедии Брокгауза-Эфрона

Аввакум Петрович, протопоп Юрьевца Поволжского, известный расколоучитель XVII века. Родился в 1620 или 1621 году в селе Григорове (теперешней Нижегородской губернии, Княгининского уезда). Отец его, священник Петр, «прилежаше пития хмельного»; воспитанием детей занималась мать, Марья, женщина благочестивая, сумевшая передать детям свою религиозность. Вероятно, под ее влиянием в Аввакуме с юных лет замечается известное аскетическое настроение; ей он обязан до некоторой степени и своею книжностью. Земляками Аввакума были патриарх Никон, Иоанн Неронов, Павел, епископ коломенский, Иларион, архиепископ рязанский — те лица, с которыми ему впоследствии суждено было встречаться на общественном поприще. Женившись на односельчанке, Настасье Марковне, Аввакум на 21-м году был рукоположен в дьяконы, а в 1643 или 1644 году поставлен в священники. Добросовестное, ревностное отношение к делу привлекло к нему многих из его духовных детей, но некоторых вооружило против него. Особенно характерны столкновения его с какими-то «начальниками» в селе Лопатицах, где он был попом: Аввакума били, «до смерти задавили», в него стреляли и, наконец, выгнали его из села в 1646 году. После этого Аввакум бежит в Москву, где находит покровительство у царского духовника, Стефана Вонифатьева, и у Ивана Неронова. Возвращается в Лопатицы, но в 1648 году снова изгнан оттуда и появляется в Москве. Здесь он пробыл до 1652 года и, вероятно, принимал деятельное участие в преобразовательных работах кружка Вонифатьева, в установлении единогласного наречного пения и во введении устной проповеди. Назначенный в 1652 году протопопом в Юрьевец, Аввакум пробыл в этом городе всего 8 недель; его проповеди и настойчивое проведение единогласия подняли против него местных жителей, и снова пришлось ему спастись в Москву. Как раз около этого времени патриархом становится Никон, который вскоре расходится со своими прежними друзьями из кружка Вонифатьева. В 1653 году выходит первая новоисправленная книга, и издаются распоряжения против двуперстия и о сокращении числа земных поклонов за великопостной молитвой Ефрема Сирина. Против этих новшеств протестуют Аввакум и костромской протопоп Даниил: они подают челобитную царю, и начинается открытая борьба членов Вонифатьевского кружка с Никоном. Несколько месяцев спустя Аввакум был посажен в тюрьму при Андроньевом монастыре, а затем выслан в Тобольск. Через два года пришел указ об отправке его на Лену, а в 1656 году его назначили в экспедицию Афанасия Пашкова в Даурию. Поход Пашкова сопряжен был со всевозможными лишениями; приходилось переносить холод и голод, подвергаться нападениям инородцев. Аввакум, кроме того, не раз испытывал на себе гнев «озорника»-воеводы, который однажды избил его до потери сознания. В 1662 году по ходатайству московских друзей Аввакум был возвращен из ссылки. Снова принимается он энергично проповедовать против «ереси Никоновой». В городах и селах, в церквях и на торжищах, раздавалась его страстная речь и имела огромное влияние на народ. В 1664 году он добрался до столицы и был принят боярами, врагами Никона, «яко ангел». Чрезвычайно милостиво отнесся к нему и царь Алексей Михайлович, приказавший поселить его в Кремле, на подворье Новодевичьего монастыря. «В походы, — рассказывает Аввакум, — мимо двора моего ходя, кланялся часто со мною низенько-таки, а сам говорит: благослови де меня и помолися о мне! И шапку в ину пору мурманку, снимаючи с головы, уронил, едучи верхом! А из кареты высунется бывало ко мне». Но пути Аввакума и его покровителей были разные: они боролись лично против Никона — Аввакум шел против Никонова дела, его церковных преобразований, с которыми бояре убеждали его примириться. Для Аввакума компромисс был невозможен; колебание его могло быть только минутным. Ободренный своей фанатичной женою, он ревностно обличает «еретическую блудню». Во всех действиях раскольнической общины он принимает в это время самое энергичное участие: он стоит во главе ее, как один из самых смелых и талантливых борцов за правую, старую веру, как популярный проповедник, вполне понятный народу по своему языку, необыкновенно образному и реалистичному. До его ссылки вождем протеста был Неронов, но он ослабел, боясь быть под клятвою вселенских патриархов. Хотя старообрядцы и любили Неронова, авторитет его среди них был уже подорван. Кроме Аввакума, не было никого, кто мог бы занять место Неронова. Это время может считаться самой горячей порой

деятельности Аввакума. Пользуясь большой свободой, он действовал и словом, и писаниями: где можно, он вступает в споры с «никонианами», пишет против них обличительные послания, подает царю челобитные об отмене «еретических» новшеств. Царь и бояре сильно смущались «огнепальной» ревностью Аввакума. «Не любо им стало, — замечает Аввакум, — как опять я стал говорить. Любо им, как молчу, да мне так не сошлось». Высшие духовные власти, видя сильный успех пропаганды Аввакума, решили принять меры против него и просили государя о его высылке, так как он «церкви запустошил». В августе 1664 года Аввакум был отправлен в ссылку в Пустозерск, но до этого острога он не доехал и более года прожил на Мезени, продолжая свою противониконианскую пропаганду. В 1666 году он был привезен в Москву на суд всеенских патриархов. Расстриженный и преданный анафеме, вместе со своими единомышленниками, романовским попом Лазарем, диаконом Федором и иноком Епифанием, он в следующем году был отправлен в Пустозерск, где вскоре по прибытии был заключен в «земляную тюрьму». Несмотря на тягостные условия жизни в Пустозерске, Аввакум продолжал свою борьбу за старую веру: из этого отдаленного уголка на всю Россию раздавалась его страстная, могучая речь. То обращался он к властям с увещанием обратиться к старой вере, то писал к своим единомышленникам, ободряя их, возбуждая их фанатизм, призывая к страданиям за истинную веру, наставляя их, как устроить свою жизнь, разрешая различные их недоумения. Так продолжалось до 14 апреля 1681 года, когда он, за «великие на царский дом хулы», был сожжен вместе с Лазарем, Федором и Епифанием. Сочинения Аввакума, число которых доходит до 60, можно распределить, помимо его автобиографии, на три разряда: 1) истолковательные беседы, 2) челобитные и 3) полемические и поучительные послания к отдельным лицам или к группам почитателей. Автобиография Аввакума весьма любопытна: она написана как житие святого, «да незабвению предано будет дело Божие». Она должна подтвердить, что дело Аввакума есть дело Божие — а это лучше всего доказывается чудесными знамениями. Отсюда множество сообщений о чудесах, бывших с Аввакумом, и общий их смысл — освящение свыше мнений и деяний Аввакума: Бог наказывает врагов старой веры и помогает верным ее исповедникам. При всех житийных прикрасах, к которым нужно отнести и неопределенность в обозначении лиц, места и времени, «Житие» Аввакума представляет весьма значительную ценность как исторический источник, характеризуя как и самого Аввакума, так и московское общество середины XVII века в его отношении к никоновым преобразованиям. Уже в «Житии» Аввакума проявляется его замечательный реализм, который еще ярче в его истолковательных беседах на Св. Писание. Прямо поразительно уменье Аввакума применяться к пониманию своей паствы, и если иногда его выражения и образы грубы, то подобная грубость вполне соответствовала уровню духовного развития людей, к которым он обращался (для примера приведем сравнение Адама и Евы после грехопадения с пьяницами). Челобитные Аввакума подавались царям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу, которых он пытается склонить на сторону поклонников старины: Аввакум сперва как бы дружески уговаривает царей, а затем выступает с резким обличением. Что касается его посланий к последователям, то, независимо от фактического материала — наставлений об устройении жизни старообрядческой общины, об отношениях с никонианами, о разных обрядовых тонкостях, они имеют особенно важное значение по выражаемому в них настроению: Аввакум не знает в деле веры никаких уступок и подобную же огнепальную ревность стремится возбудить и в своих единомышленниках. Он зовет их на страдания, которые рисует поэтическими чертами: «А в огне том здесь небольшое время терпеть, — аки оком мигнуть, так и душа выскочит. Боишься печи той? Дерзай, плюнь на нее, не бойся! До печи той страх; а егда в нее вошел, тогда и забыл вся. Егда же загорится, а ты увидишь Христа и ангельские силы с Ним, емлют душу ту от телес, да и приносят ко Христу: а Он-Надежа благославляет и силу ей дает Божественную, не уже к тому бывает, но яко восперенна, туды же со ангелы летает, равно яко птичка попархивает, — рада, из темницы той вылетела». Такие картины сильно действовали на воображение последователей Аввакума: они смело шли на страдания, и некоторые из них явились первыми проповедниками самосожжения. — См. Субботин, «Материалы для истории раскола за первое время его существования» (М., 1875-1890, 9 тт.; особенно важны тт. I, V, VI и VIII); Мякотин, «Протопоп Аввакум» (СПб., 1893); Бороздин, «Протопоп Аввакум» (2-е изд., СПб., 1900; полная библиография); Смирнов, «Внутренние вопросы в расколе XVII века» (СПб., 1899).

По благословиению отца моего старца Епифания писано моею рукою грешною протопопа Аввакума, и аще что реченно просто, и вы, Господа ради, чтущии и слышащии, не позазрите просторечию нашему, понеже люблю свой русской природной язык, виршами философскими не обык речи красить, понеже не словес красных Бог слушает, но дел наших хошет. И Павел пишет: „аще языки человеческими глаголю и ангельскими, любви же не имам, — ничто же есмь“. Вот что много рассуждать: не латинским языком, ни греческим, ни еврейским, ниже* иным коим ищет от нас говоры Господь, но любви с прочими добродетельми хошет; того ради я и не брежу о красноречии и не уничижаю своего языка русскаго, но простите же меня, грешнаго, а вас всех, рабов Христовых, Бог простит и благословит. Аминь.

Всесвятая троице, Боже и содетелю всего мира! поспеши и направи сердце мое начати с разумом и кончати дела благими, яже ныне хошу глаголати аз недостойный; разумея же свое невежество, припадая, молю ти ся и еже от тебя помощи прося: управи ум мой и утверди сердце мое приготовитися на творение добрых дел, да, добрыми делы просвещен, на судище десныя** ти страны причастник буду со всеми избранными твоими. И ныне, владыко, благослови, да, воздохнув от сердца, и языком возглаголю Дионисия Ареопагита о Божественных именованых, что есть Богу присносущные имена истинные, еже есть близостные, и что виновные, сиречь похвальные. Сия суть сущие: сый, свет, истина, живот; только четыре свойственных, а виновных много; сия суть: Господь, вседержитель, непостижим, неприступен, трисиянен, триипостасен, царь славы, непостоянен, огонь, дух, Бог, и прочая по тому разумевай.

Того ж Дионисия о истине: себе бо отвержение истины испадение есть, истина бо сущее есть; аще бо истина сущее есть, истины испадение сущаго отвержение есть; от сущаго же Бог испасти не может, и еже не быти — несть.

Мы же речем: потеряли новолюбцы существо Божие испадением от истиннаго Господа, святаго и животворящаго духа. По Дионисию: коли уж истины испали, тут и сущаго отверглися. Бог же от существа своего испасти не может, и еже не быти, несть того в Нем: присносущен истинный Бог наш. Лучше бы им в Символе веры не глаголати Господа, виновнаго имени, а нежели истиннаго отсекасти, в Нем же существо Божие содержится. Мы же, правовернии, обоя имена исповедаем: и в Духа Святаго, Господа, истиннаго и животворящаго, Света нашего, веруем, со Отцем и Сыном поклоняемаго, за Него же стражем и умираем, помощью Его владычнюю. Тешит нас Дионисий Ареопагит, в книге ево сице*** пишет: сей убо есть воистину истинный христианин, зане**** истинною разумев Христа и тем благоразумие стяжав, исступив убо себе, не сый в мирском их нраве и прелести*****, себя же весть трезвящися и измененна всякаго прелестнаго неверия, не токмо даже до смерти бедствующе истины ради, но и неведением скончевающися всегда, разумом же живуще, и християне суть свидетельствуемы. Сей Дионисий научен вере Христове от Павла апостола, живый во Афинах, прежде, даже не прийти в веру Христову, хитрость имый исчитати беги небесныя; егда ж верова Христови, вся сия вмених быти яко уметы*****. К Тимофею пишет в книге своей, сице глаголя: „дитя, али не разумеешь, яко вся сия внешняя блядь***** ничто же суть, но токмо прелесть и тля и пагуба? аз проидох делом и ничто ж обретох, но токмо тщету“. Чтый да разумеет. Исчитати беги небесныя любят погибающии, понеже любви истинныя не прияша, воеже спастися им; и

* и не

** правое

*** так

**** потому что

***** соблазне, обмане, заблуждении

***** грязь, помет

***** блуд, заблуждение, обман; производное — распутная женщина

сего ради послет им Бог действо лъсти, воеже веровата им лжи, да суд примут не веровавши истине, но благоволиша о неправде. (Чти Апостол, 275.)

Сей Дионисий, еще не приидох в веру Христову, со учеником своим во время распятия Господня быв в солнечном граде и виде: солнце во тьму преложися и луна в кровь, звезды в полудне на небеси явились черным видом. Он же ко ученику глагола: „или кончина веку прииде, или Бог слово плотию стражет“; понеже не по обычаю тварь виде изменену: и сего ради бысть в недоумении. Той же Дионисий пишет о солнечном знамени, когда затмится: есть на небеси пять звезд заблудных, еже именуются луны. Сии луны Бог положил не в пределех, яко ж и прочии звезды, но обтекают по всему небу, знамение творя или во гнев или в милость, по обычаю текуще. Егда заблудная звезда, еже есть луна, подтечет под солнце от запада и закроет свет солнечный, то солнечное затмение за гнев божий к людям бывает. Егда ж бывает, от востока луна подтекает, то по обычаю шествие творяще закрывает солнце.

А в нашей России бысть знамение: солнце затмилось в 162 году, пред мором за месяц или меньше. Плыл Волгою рекою архиепископ Симеон перед Петровым днем недели за две; часа с три плачючи у берега стояли; солнце померче, от запада луна подтекала. По Дионисию, являя Бог гнев свой к людям: в то время Никон отступник веру казил и законы церковныя, и сего ради Бог изливал фиал* гнева ярости своея на русскую землю; зело** мор велик был, неколи еще забыть, вси помним. Потом, минув годов с четырнадцать, вдругорядь*** солнцу затмение было; в Петров пост, в пяток, в час шестый, тьма бысть; солнце померче, луна подтекала от запада же, гнев Божий являя, и протопопы Аввакума, беднова горемыку, в то время с прочими остригли в соборной церкви власти и на Угреше в темницу, проклинав, бросили. Верный разумеет, что делается в земли нашей за нестроение церковное. Говорить о том полно; в день века познано будет всеми; потерпим до тех мест.

Той же Дионисий пишет о знамени солнца, како бысть при Иисусе Наввине во Израили. Егда Иисус секий иноплеменники, и бысть солнце противу Гаваона, еже есть на полднях, ста Иисус крестообразно, сиречь распростре руке свои, и ста солнечное течение, дондеже**** враги погуби. Возвратилося солнце к востоку, сиречь назад отбежало, и паки***** потече, и бысть во дни том и в нощи тридесять четыре часа, понеже в десятый час отбежало; так в сутках десять часов прибыло. И при Езекии царе бысть знамение: оттече солнце вспять во вторый на десять час дня, и бысть во дни и в нощи тридесять шесть часов. Чти книгу Дионисиеву, там пространно уразумеешь.

Он же Дионисий пишет о небесных силах, росписует, возвещая, како хвалу приносят Богу, разделяяся девять чинов на три тройцы. Престоли, херувими и серафими освящение от Бога приемлют и сице восклицают: благословенна слава от места Господня! И чрез их преходит освящение на вторую тройцу, еже есть Господства, начала, власти; сия тройца, славословя Бога, восклицают: аллилуия, аллилуия, аллилуия! По алфавиту, аль Отцу, иль Сыну, иль Духу Святому. Григорий Нисский толкует: аллилуия — хвала Богу; а Василий Великий пишет: аллилуия — ангельская речь, человечески рещи — слава Тебе, Боже! До Василия пояху во церкви ангельския речи: аллилуия, аллилуия, аллилуия! Егда же бысть Василий, и повеле пети две ангельския речи, а третьюю, человеческую, сице: аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже! У святых согласно, у Дионисия и у Василия; трижды воспевающе, со ангелы славим Бога, а не четыри, по римской бляди; мерзко Богу четверичное воспевание сицевое: аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже! Да будет проклят сице поюще. Паки на первое возвратимся. Третья тройца, силы, архангели, ангели, чрез среднюю тройцу освящение приемля, поют: свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Его! Зри: тричисленно и сие воспевание.

* чаша, кубок

** очень

*** во второй раз

**** пока

***** опять, снова

Пространно пречистая Богородица протолковала о аллилуии, явилася ученику Ефросина Псковскаго, именем Василию. Велика во аллилуи хвала Богу, а от зломудрствующих досада велика, — по-римски святую тройцу в четверицу глаголют, духу и от сына исхождение являют; зло и проклято се мудрование Богом и святыми. Правверных избави Боже сего начинания злаго, о Христе Исусе, Господе нашем, Ему же слава ныне и присно и во веки веком. Аминь.

Афанасий великий рече: иже хочет спастися, прежде всех подобает ему держати кафолическая* вера, ея же аще кто целы и непорочны не соблюдает, кроме всякаго недоумения, во веки погибнет. Вера ж кафолическая сия есть, да единого Бога в тройце и тройцу во единице почитаем, ниже сливающе составы, ниже разделяюще существо; ин бо есть состав Отець, ин — Сыновень, ин — Святаго Духа; но Отчее, и Сыновнее, и Святаго Духа едино Божество, равна слава, соприсушно величество; яков Отец, таков Сын, таков и Дух Святыи; вечен Отец, вечен Сын, вечен и Дух Святыи; не создан Отец, не создан Сын, не создан и Дух Святыи; Бог Отец, Бог Сын, Бог и Дух Святыи не три бози, но един Бог; не три несоздания, но един несозданный, един вечный. Подобне: вседержитель Отец, вседержитель Сын, вседержитель и Дух Святыи. Равне: непостижим Отец, непостижим Сын, непостижим и Дух Святыи. Обаче** не три вседержители, но един вседержитель; не три непостижимии, но един непостижимый, един пресущный. И в сей святей тройце ничтоже первое или последнее, ничтоже более или менее, но целы три составы и соприсносущны суть себе и равны. Особно бо есть Отцу нерождение, Сыну же рождение, а Духу Святому исхождение: обще же им Божество и царство. (Нужно бо есть побеседовати и о вочеловечении Бога-слова к вашему спасению.) За благость щедрот излиша себе от отеческих недр Сын-слово Божие в деву чисту Богоотроковицу, егда время наставало, и воплотився от Духа Свята и Марии девы вочеловечився, нас ради пострадал, и воскрес в третий день, и на небо вознесся, и седе одесную*** величества на высоких и хочет паки прийти судити и воздати комуждо по делом его, Его же царствию несть конца. И сие смотрение**** в бозе бысть прежде, даже не создатися Адаму, прежде, даже не вообразитися. (Совет отечь.) Рече Отец Сынови: сотворим человека по образу нашему и по подобию. И отвеща другий: сотворим, Отче, и преступит бо. И паки рече: о единородный мой! о свете мой! о Сыне и Слове! о сияние славы Моея! аще промышляеши созданием Своим, подобает Ти облещися в тлимаго человека, подобает Ти по земли ходити, плоть восприяти, пострадати и вся совершити. И отвеща другий: буди, Отче, воля Твоя. И посем создася Адам. Аще хочещи пространно разумети, чти Маргарит: Слово о вочеловечении; тамо обрящещи. Аз кратко помянул, смотрение показуя. Сице всяк веруай в онь не постыдится, а не веруай осужден будет и во веки погибнет, по вышереченному Афанасию. Сице аз, протопоп Аввакум, верую, сице исповедаю, с сим живу и умираю.

Рождение же мое в нижегородских пределех, за Кудмою рекою, в селе Григорове. Отец ми бысть священник Петр, мати — Мария, инока Марфа. Отец же мой прилежаще пития хмельнова; мати же моя постница и молитвенница бысть, всегда учаше мя страху Божию. Аз же некогда видево у соседа скотину умершу, и той ноши, восставше, пред образом плакався довольно о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть; и с тех мест обыкох по вся ноши молитися. Потом мати моя овдовела, а я осиротел молод и от своих соплеменник во изгнании быхом. Изволила мати меня женить. Аз же пресвятей Богородице молихся, да даст ми жену помощницу ко спасению. И в том же селе девица, сиротина ж, беспрестанно обыкла ходить во церковь, — имя ей Анастасия. Отец ея был кузнец, именем Марко, Богат гораздо; а егда умре, после ево вся истощилось. Она же в скудости живяше и моляшеся Богу, да же***** сочетається за меня совокуплением брачным; и бысть по воли Божии тако. Посем мати моя отыде к Богу в

* православная

** но, однако, напротив

*** по правую руку

**** предназначение, промысл

***** чтобы

подвизе велице. Аз же от изгнания переселихся во ино место. Рукоположен во диаконы двадесяти лет с годом, и по дву летех в попы поставлен; живый в попех осмь лет, и потом совершен в протопопы православными епископы, — тому двадесеть лет минуло; и всего тридесять лет, как имею священство.

А егда в попах был, тогда имел у себя детей духовных много, — по се время сот с пять или с шесть будет. Не почивая, аз, грешный, прилежа во церквах, и в домех, и на распутиях, по градом и селам, еще же и в царствующем граде и во стране сибирской проповедуя и уча слову Божию, — годов будет тому с полтретьятцеть*.

Егда еще был в попех, прииде ко мне исповедатися девица, многими грехми обремененна, блудному делу и малакии** всякой повинна; нача мне, плакавшеся, подробну возвещати во церкви, пред Евангелием стоя. Аз же, трекоаянный врач, сам разболелся, внутрь жгом огнем блудным, и горько мне бысть в той час: зажег три свечи и прилепил к налою, и возложил руку правую на пламя, и держал, дондеже во мне угасло злое разжение, и, отпустя девицу, сложа ризы, помоляся, пошел в дом свой зело скорбен. Время же, яко полнощи, и пришед во свою избу, плакався пред образом Господним, яко и очи опухли, и моляся прилежно, да же отлучит мя Бог от детей духовных, понеже бремя тяжко, неудобь носимо. И падох на землю на лица своем, рыдаше горце и забыхся, лежа; не нем, как плачю; а очи сердечнии при реке Волге. Вижу: пловут стройно два корабля златы, и весла на них златы, и шесты златы, и все злато; по единому кормщику на них сидельцов. И я спросил: „чье корабли?“ И они отвещали: „Лукин и Лаврентиев“. Сии быша ми духовныя дети, меня и дом мой наставили на путь спасения и скончались Богоугодне. А се потом вижу третей корабль, не златом украшен, но разными пестротами, — красно, и бело, и сине, и черно, и пепелесо***, — его же ум человек не вмести красоты его и доброты; юноша светел, на корме сидя, правит; бежит ко мне из-за Волги, яко пожрати мя хочет. И я вскричал: „чей корабль?“ И сидяй на нем отвещал: „твой корабль! на, плавай на нем с женою и детьми, коли докучаешь!“ И я вострепетах и седше рассуждаю: что се видимое? и что будет плавание?

А се по мале времени, по писанному, „объяша мя болезни смертныя, беды адовы обретоша мя: скорбь и болезнь обретох“. У вдовы начальник отнял дочь, и аз молих его, да же сиротину возвратит к матери, и он, презрев моление наше, и воздвиг на мя бурю, и у церкви, пришед сонмом, до смерти меня задавили. И аз лежа мертв пол часа и больши, и паки оживе Божиим мановением. И он, устрашася, отступился мне девицы. Потом научил ево дьявол: пришед во церковь, бил и волочил меня за ноги по земле в ризах, а я молитву говорю в то время.

Таже**** ин начальник, во ино время, на мя рассвирепел, — прибежал ко мне в дом, бив меня, и у руки отгрыз персты, яко пес, зубами. И егда наполнилась гортань ево крови, тогда руку мою испустил из зубов своих и, покиня меня, пошел в дом свой. Аз же, поблагодаря Бога, завертев руку платом, пошел к вечерне. И егда шел путем, наскочил на меня он же паки со двумя малыми пищальми***** и, близ меня быв, запалил из пистолы, и Божию волею на полке порох пыхнул, а пищаль не стрелила. Он же бросил ея на землю и из другия паки запалил так же, — и та пищаль не стрелила. Аз же прилежно, идучи, молюсь Богу, единою рукою осенил ево и поклонился ему. Он меня лает, а ему рекл: „благодать во устнех твоих, Иван Родионович, да будет!“ Посем двор у меня отнял, а меня выбил, всего ограбя, и на дорогу хлеба не дал.

В то же время родился сын мой Прокопей, которой сидит с матерью в земле закопан. Аз же, взяв ключку, а мати — некрещенова младенца, побрели, амо***** же Бог наставит, и на пути крестили, яко же Филипп каженика***** древле. Егда ж аз прибрел к Москве, к

* двадцать пять

** разврату, рукоблудию

*** пепельного цвета

**** потом

***** огнестрельными орудиями, пушками

***** куда

***** евнуха

духовнику протопопу Стефану и к Неронову протопопу Ивану, они же обо мне царю известиша, и государь меня почал с тех мест знати. Отцы же с грамотою паки послали меня на старое место, и я притащился — ано* и стены разорены моих храмин. И я паки позавелся, а дьявол и паки воздвиг на меня бурю. Придоша в село мое плясовые медведи с бубнами и с домрами, и я, грешник, по Христе ревнуя, изгнал их, и ухари** и бубны изломал на поле един у многих и медведей двух великих отнял, — одново ушиб, и паки ожил, а другова отпустил в поле. И за сие меня Василей Петрович Шереметев, пловучи Волгою в Казань на воеводство, взяв на судно и браня много, велел благословить сына своего Матфея бритобрадца***. Аз же не благословил, но от писания ево и порицал, видя блудолюбный образ. Боярин же, гораздо осердясь, велел меня бросить в Волгу и, много томя, протолкали. А опосле учинились добры до меня: у царя на сенях со мною прощались; а брату моему меньшому боярону Васильева и дочь духовная была. Так-то Бог строит своя люди.

На первое возвратимся. Таже ин начальник на мя рассвирепел: приехав с людьми ко двору моему, стрелял из луков и из пищалей с приступом. А аз в то время, запершись, молился с воплем ко Владыке: „Господи, укроти ево и примири, ими же веси судьбами!“ И побежал от двора, гоним святым духом. Таже в ночь ту прибежали от него и зовут меня со многими слезами: „Батюшко-государь! Евфимей Стефановичь при кончине и кричит неудобно, бьет себя и охает, а сам говорит: дайте мне батька Аввакума! за него Бог меня наказует!“ И я чаял, меня обманывают; ужасеся дух мой во мне. А се помолил Бога сице: „Ты, Господи, изведый мя из чрева матере моя, и от небытия в бытие мя устроил! Аще меня задушат, и Ты причти мя с Филиппом, митрополитом московским; аще зарежут, и Ты причти мя с Захариєю пророком; а буде в воду посадят, и Ты, яко Стефана пермсаго, освободишь мя!“ И моляся, поехал в дом к нему, Евфимию. Егда ж привезоша мя на двор, выбежала жена ево Неонила и ухватала меня под руку, а сама говорит: „поди-тко, государь наш батюшко, поди-тко, свет наш кормилец!“ И я сопротив того: „чюдно! давеча был блядин сын, а топерва**** — батюшко! Большо***** у Христа тово остра шелепуга***** та: скоро повинился муж твой!“ Ввела меня в горницу. Вскочил с перины Евфимей, пал пред ногама моима, вопит неизреченно: „прости, государь, согрешил пред Богом и пред тобою!“ А сам дрожит весь. И я ему сопротиво: „хощеши ли впредь цел быти?“ Он же, лежа, отвеща: „ей, честный отче!“ И я рек: „востани! Бог простит тя!“ Он же, наказан гораздо, не мог сам востати. И я поднял и положил его на постелю, и исповедал, и маслом священным помазал, и бысть здрав. Так Христос изволил. И наутро отпустил меня честно в дом мой, и с женою быша ми дети духовныя, изрядныя раби Христовы. Так-то Господь гордым противится, смиренным же дает благодать.

Помале паки инии изгнаша мя от места того вдругоряд. Аз же сволокся к Москве, и Божиею волею государь меня велел в протопопы поставить в Юрьевец-Повольской. И тут пожил немного, — только осмь недель: дьявол научил попов, и мужиков, и баб, — пришли к патриархову приказу, где я дела духовныя делал, и, вытаща меня из приказа собранием, — человек с тысящу и с полторы их было, — среди улицы били батожем и топтали; и бабы были с рычагами. Грех ради моих, замертва убили и бросили под избной угол. Воевода с пушкарями прибежали и, ухватя меня, на лошади умчали в мое дворишко; и пушкарей воевода около двора поставил. Людие же ко двору приступают, и по граду молва***** велика. Наипаче же попы и бабы, которых унимал от блудни, вопят: „убить вора, блядина сына, да и тело собакам в ров кинем!“ Аз же, отдохня, в третей день ночью, покиня жену и дети, по Волге сам-третей ушел к Москве. На Кострому прибежал, — ано и тут протопопа ж Даниила изгнали. Ох, горе! везде от

* а, ан

** хари, маски

*** бреющего бороду

**** теперь

***** должно быть

***** плеть, кнут

***** шум, волнение, смятение

дьявола житья нет! Прибрел к Москве, духовнику Стефану показался; и он на меня учинился печален: на што-де церковь соборную покинул? Опять мне другое горе! Царь пришел к духовнику благословитца ночью; меня увидел тут; опять кручина: на што-де город покинул? — А жена, и дети, и домочадцы, человек с двадцать, в Юрьевце остались: неведомо — живы, неведомо — прибиты! Тут паки горе.

Посем Никон, друг наш, привез из Соловков Филиппа митрополита. А прежде ево приезде Стефан духовник, моля Бога и постясь седмицу* с братьею, — и я с ними тут же, — о патриархе, да же даст Бог пастыря ко спасению душ наших, и с митрополитом казанским Корнилием, написав челобитную за руками, подали царю и царице — о духовнике Стефане, чтоб ему быть в патриархах. Он же не восхотел сам и указал на Никона митрополита. Царь ево и послушал, и пишет к нему послание навстречу: преосвященному митрополиту Никону новгородскому и великолукскому и всея Руси радоватися, и прочая. Егда ж приехал, с нами яко лис: челом да здорово. Ведает, что быть ему в патриархах, и чтобы откуля помешка какова не учинилась. Много о тех кознях говорить! Егда поставили патриархом, так друзей не стал и в крестовую пускать. А се и яд отрыгнул; в пост великой прислал память** к Казанской к Неронову Ивану. А мне отец духовной был; я у него все и жил в церкви: егда куды отлучится, ино я ведаю церковь. И к месту, говорили, на дворец к Спасу, на Силюно покойника место; да Бог не изволил. А се и у меня радение худо было. Любо мне, у Казанские тое держался, чел народу книги. Много людей приходило. — В памяти Никон пишет: „Год и число. По преданию святых апостол и святых отец, не подобает во церкви метания*** творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны, еще же и трема персты бы есте крестились“. Мы же задумались, сошедшеся между собою; видим, яко зима хошет быти; сердце озябло, и ноги задрожали. Неронов мне приказал церковь, а сам един скрылся в Чюдов, — седмицу в полатке молился. И там ему от образа глас бысть во время молитвы: „время приспе страдания, подобает вам неослабно страдати!“ Он же мне плачючи сказал; таже коломенскому епископу Павлу, его же Никон напоследок огнем сжег в новгородских пределах; потом — Данилу, костромскому протопопу; таже сказал и всей братье. Мы же с Данилом, написав из книг выписки о сложении перст и о поклонех, и подали государю; много писано было; он же, не вея где, скрыл их; мнитмися, Никону отдал.

После тово вскоре схватав Никон Даниила в монастыре за Тверскими вороты, при царе остриг голову и, содрав однорядку, ругая, отвел в Чюдов в хлебню и, муча много, сослал в Астрахань. Венец тернов на главу ему там возложили в земляной тюрьме и уморили. После Данилова стрижения взяли другога, темниковскаго Даниила ж протопопу, и посадили в монастыре у Спаса на Новом. Таже протопопу Неронова Ивана — в церкви скуфью снял и посадил в Симанове монастыре, опосле сослал на Вологду, в Спасов Каменной монастырь, потом в Колской острог****. А напоследок, по многом страдании, изнемог бедной, — принял три перста, да так и умер. Ох, горе! всяк мняйся стоя, да блюдется, да ся не падет. Люто время, по реченному Господем, аще возможно духу антихристову прельстити избранныя. Зело надобно крепко молитися Богу, да спасет и помилует нас, яко благ и человеколюбец.

Таже меня взяли от всенощнаго Борис Нелединской со стрельцами; человек со мною с шестьдесят взяли: их в тюрьму отвели, а меня на патриархове дворе на чепь посадили ночью. Егда ж россветало в день недельный, посадили меня на телегу, и ростянули руки, и везли от патриархова двора до Андроньева монастыря и тут на чепи кинули в темную полатку, ушла в землю, и сидел три дни, ни ел, ни пил; во тьме сидя, кланялся на чепи, не знаю — на восток, не знаю — на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысть же я в третий день приалчен, — сиречь есть захотел, — и после вечерни

* неделю

** грамоту, распоряжение

*** земные поклоны

**** частокол, ограда из кольев, устраивавшаяся около города для его защиты; также самый город, то есть укрепленный административный пункт, не имеющий при себе посада

ста предо мною, не вем-ангел, не вем-человек, и по се время не знаю, токмо в потемках молитву сотворил и, взяв меня за плечо, с чепью к лавке привел и посадил и ложку в руки дал и хлеба немножко и щец похлебать, — зело прикусны, хороши! — и рекл мне: „полно, довлеет ти ко укреплению!“ Да и не стало ево. Двери не отворялись, а ево не стало! Дивно только — человек; а что ж ангел? ино нечему дивитца — везде ему не загорожено. На утро архимарит с братьею пришли и вывели меня; журят мне, что патриарху не покорился, а я от писания ево браню да лаю. Сняли большую чепь да малую наложили. Отдали чернцу под начал, велели волочить в церковь. У церкви за волосы дерут, и под бока толкают, и за чепь торгают*, и в глаза плюют. Бог их простит в сий век и в будущий: не их то дело, но сатаны лукаваго. Сидел тут я четыре недели.

В то время после меня взяли Логгина, протопopa муромскаго: в соборной церкви, при царе, остриг в обедню. Во время переноса снял патриарх со главы у архидьякона дискос** и поставил на престол с телом Христовым; а с чашею архимарит чюдовской Ферапонт вне олтаря, при дверех царских стоял. Увы рассечения тела Христова, пуци жидовскаго действия! Остригше, содрали с него однарядку и кафтан. Логгин же разжегся ревностию Божественнаго огня, Никона порицая, и чрез порог в олтарь в глаза Никону плевал; распоясався, схватя с себя рубашку, в олтарь в глаза Никону бросил; чюдно, растопоряся рубашка и покрыла на престоле дискос, быдто воздух***. А в то время и царица в церкви была. На Логгина возложили чепь и, таща из церкви, били метлами и шелепами до Богоявленскаго монастыря и кинули в полатку нагова, и стрельцов на карауле поставили накрепко стоять. Ему ж Бог в ту ночь дал шубу новую да шапку; и на утро Никону сказали, и он, россмеявся, говорит: „знаю-су**** я пустосвятов тех!“ — и шапку у него отнял, а шубу ему оставил.

Посем паки меня из монастыря водили пешева на патриархов двор, также руки ростяня, и, стязався много со мною, паки также отвели. Таже в Никитин день ход со кресты, а меня паки на телеге везли против крестов. И привезли к соборной церкви стричь и держали в обедню на пороге долго. Государь с места сошел и, приступя к патриарху, упросил. Не стригше, отвели в Сибирской приказ и отдали дьяку Третьяку Башмаку, что ныне стражет же по Христе, старец Саватей, сидит на Новом, в земляной же тюрьме. Спаси ево, Господи! и тогда мне делал добро.

Таже послали меня в Сибирь с женою и детьми. И колико дорогою нужды бысть, тово всево много говорить, разве малая часть помянуть. Протопопица младенца родила; больную в телеге и повезли до Тобольска; три тысячи верст недель с тринадцать волокли телегами и водою и саньми половину пути.

Архиепископ в Тобольске к месту устроил меня. Тут у церкви великия беды постигоша меня: в полтора годы пять слов государевых сказывали на меня, и един некто, архиепископля двора дьяк Иван Струна, тот и душею моею потряс. Съехал архиепископ к Москве, а он без нево, дьявольским научением, напал на меня: церкви моя дьяка Антония мучить напрасно захотел. Он же Антон утече у него и прибежал во церковь ко мне. Той же Струна Иван, собрався с людьми, во ин день прииде ко мне в церковь, — а я вечерню пою, — и вскочил в церковь, ухватил Антона на крылосе за бороду. А я в то время двери церковныя затворил и замкнул и никою не пустил, — один он Струна в церкви вертится, что бес. И я, покиня вечерню, с Антоном посадил ево среди церкви на полу и за церковный мятеж постегал ево ремнем нарочито-таки; а прочии, человек с двадцеть, вси побегоша, гоними духом святым. И покаяние от Струны приняв, паки отпустил ево к себе. Сродницы же Струнины, попы и чернцы, весь возмутили град, да како меня погубят. И в полунощи привезли сани ко двору моему, ломилися в ызбу, хотя меня взять и в воду свести. И Божиим страхом отгнани быша и побегоша вспять. Мучился я с месяц, от них бегаючи втай*; иное в церкви начую, иное к воеводе уйду, а иное в тюрьму просился,

* дергают, бьют

** блюдо на подставке, на которое кладется вынутый из просфоры „агнец“ (см.)

*** покров на церковных сосудах с „дарами“

**** сокращение слов „сударь“, „государь“

— ино не пустят. Провожал меня много Матфей Ломков, иже и Митрофан именуем в чернцах, — опосле на Москве у Павла митрополита ризничим был, в соборной церкви с дьяконом Афонасьем меня стриг; тогда добр был, а ныне дьявол ево поглотил. Потом приехал архиепископ с Москвы и правильно виною ево, Струну, на чепь посадил за сие: некий человек с дочерью кровосмешение сотворил, а он, Струна, полтину взяв и, не наказав мужика, отпустил. И владыко ево сковать приказал и мое дело тут же помянул. Он же, Струна, ушел к воеводам в приказ и сказал „слово и дело государево“ на меня. Воеводы отдали ево сыну боярскому лучшему, Петру Бекетову, за пристав. Увы, погибель на двор Петру пришла. Еще же и душе моей горе тут есть. Подумав архиепископ со мною, по правилам за вину кровосмешения стал Струну проклинать в неделю православия в церкви большой. Той же Бекетов Петр, пришед в церковь, браня архиепископа и меня, и в той час из церкви пошед, взбесился, ко двору своему идучи, и умре горькою смертию зле. И мы со владыкою приказали тело ево среди улицы собакам бросить, да же граждане оплачют согрешение его. А сами три дни прилежне стужали** Божеству, да же в день века отпустится ему. Жалея Струны, такову себе пагубу приял. И по трех днех владыка и мы сами честне тело его погребли. Полно тово плачевнова дела говорить.

Посем указ пришел: велено меня из Тобольска на Лену вести за сие, что браню от писания и укоряю ересь Никонову. В та же времена пришла ко мне с Москвы грамотка. Два брата жили у царицы вверху, а оба умерли в мор с женами и с детьми; и многия друзья и сродники померли. Излиял Бог на царство фиал*** гнева своего! Да не узнались горюны однако, — церковью мятут. Говорил тогда и сказывал Неронов царю три пагубы за церковный раскол: мор, меч, разделение; то и сбылось во дни наша ныне. Но милостив Господь: наказав, покаяния ради и помилует нас, прогнав болезни душ наших и телес, и тишину подаст. Уповаю и надеюся на Христа; ожидаю милосердия его и чаю воскресения мертвым.

Таже сел опять на корабль свой, еже и показан ми, что выше сего рекох, — поехал на Лену. А как приехал в Енисейской, другой указ пришел: велено в Дауры вести — двадцать тысяч и больши будет от Москвы. И отдали меня Афонасью Пашкову в полк, — людей с ним было 600 человек; и грех ради моих суров человек: беспрестанно людей жжет, и мучит, и бьет. И я ево много уговаривал, да и сам в руки попал. А с Москвы от Никона приказано ему мучить меня.

Егда поехали из Енисейска, как будем в большой Тунгузке реке, в воду загрузило бурею дощеник**** мой совсем: налился среди реки полон воды, и парус изорвало, — одны полубы над водою, а то все в воду ушло. Жена моя на полубы из воды робят кое-как вытаскала, простоволоса ходя. А я, на небо глядя, кричу: „Господи, спаси! Господи, помози!“ И Божиею волею прибило к берегу нас. Много о том говорить! На другом дощенике двух человек сорвало, и утонули в воде. Посем, оправяся на берегу, и опять поехали вперед.

Егда приехали на Шаманской порог, на встречу приплыли люди иные к нам, а с ними две вдовы — одна лет в 60, а другая и больши; пловут постричься в монастырь. А он, Пашков, стал их ворочать и хочет замуж отдать. И я ему стал говорить: „по правилам не подобает таковых замуж давать“. И чем бы ему, послушав меня, и вдов отпустить, а он вздумал мучить меня, осердясь. На другом, Долгом пороге стал меня из дощеника выбивать: „для-де тебя дощеник худо идет! еретик-де ты! поди-де по горам, а с казаками не ходи!“ О, горе стало! Горы высокия, дебри непроходимыя, утес каменной, яко стена стоит, и поглядеть — заломя голову! В горах тех обретаются змеи великие; в них же витают гуси и утицы — перие красное, вороны черные, а галки серые; в тех же горах орлы, и соколы, и кречаты, и курята индейские, и бабы, и лебеди, и иные дикие — многое множество, птицы разные. На тех горах гуляют звери многие дикие: козы, и олени, и зубри, и лоси, и кабаны, волки, бараны дикие — во очию нашу, а взять нельзя!

* тайно

** докучали, домогались

*** чаша, кубок

**** большая плоскодонная лодка с палубой

На те горы выбивал меня Пашков, со зверьми, и со змиями, и со птицами витать. И аз ему малое писанейце написал, сице начало: „Человече! убойся Бога, сидящего на херувимех и призирающего в безны, его же трепещут небесныя силы и вся тварь со человеки, един ты презираешь и неудобство показуешь“, — и прочая; там многонько писано; и послал к нему. А се бегут человек с пятьдесят: взяли мой дощенник и помчали к нему, — версты три от него стоял. Я казакам каши наварил да кормлю их; и они, бедные, и едят и дрожат, а иные, глядя, плачут на меня, жалеют по мне. Привели дощенник; взяли меня палачи, привели перед него. Он со шпагою стоит и дрожит; начал мне говорить: „поп ли ты или роспоп*?“ И аз отвечал: „аз есмь Аввакум протопоп; говори: что тебе дело до меня?“ Он же рыкнул, яко дивий** зверь, и ударил меня по щоке, таже по другой и паки в голову, и сбил меня с ног и, чекан*** ухватя, лежачева по спине ударил трижды и, разболокси****, по той же спине семьдесят два удара кнутом. А я говорю: „Господи Исусе Христе, сыне Божий, помогай мне!“ Да то ж, да то ж беспрестанно говорю. Так горько ему, что не говорю: „пощади!“ Ко всякому удару молитву говорил, да осреди побой вскричал я к нему: „полно бить тово!“ Так он велел перестать. И я промолыл***** ему: „за что ты меня бьешь? ведаешь ли?“ И он паки велел бить по бокам, и отпустили. Я задрожал, да и упал. И он велел меня в казенной дощенник оттащить: сковали руки и ноги и на беть кинули. Осень была, дождь на меня шел, всю ночь под капелию лежал. Как били, так не больно было с молитвою тою; а лежа, на ум взбрело: „за что ты, сыне Божий, попустил меня ему таково больно убить тому? Я ведь за вдовы Твои стал! Кто даст судию между мною и Тобою? Когда воровал, и Ты меня так не оскорблял, а ныне не вем, что согрешил!“ Быдто добрый человек — другой фарисей с говенною рожкою, — со Владыкою судитца захотел! Аще Иев и говорил так, да он праведен, непорочен, а се и писания не разумел, вне закона, во стране варварстей, от твари Бога познал. А я первое — грешен, второе — на законе почиваю и писанием отвсюду подкрепляем, яко многими скорбьми подобает нам внити во царство небесное, а на такое безумие пришел! Увы мне! Как дощенник-от в воду ту не погряз со мною? Стало у меня в те поры кости те щемить и жилы те тянуть, и сердце зашлось, да и умирать стал. Воды мне в рот плеснули, так вздохнул да покаялся пред Владыкою, и Господь-свет милостив: не поминает наших беззаконий первых покаяния ради; и опять не стало ништо болеть.

Наутро кинули меня в лодку и напредь повезли. Егда приехали к порогу, к самому большому — Падуну, река о том месте шириною с версту, три залавка***** чрез всю реку зело круты, не воротами што поплывет, ино в щепы изломает, — меня привезли под порог. Сверху дождь и снег, а на мне на плеча накинута кафтанишко просто; льет вода по брюху и по спине, — нужно было гораздо. Из лодки вытаща, по камению скована окол порога тащили. Грустко***** гораздо, да душе добро: не пеняю уж на Бога вдругоряд. На ум пришли речи, пророком и апостолом реченные: „Сыне, не пренемогай наказанием Господним, ниже ослабей, от него обличаем. Его же любит Бог, того наказует; биет же всякаго сына, его же приемлет. Аще наказание терпите, тогда яко сыном обретается вам Бог. Аже ли без наказания приобщаетеся Ему, то выблядки, а не сынове есте“. И сими речьми тешил себя.

Посем привезли в Брацкой острог и в тюрьму кинули, соломки дали. И сидел до Филиппова поста в студеной башне; там зима в те поры живет, да Бог грел и без платья! Что собачка, в соломке лежу: коли накормят, коли нет, Мышей много было, я их скуфьею бил, — и батожка не дадут дурачки! Все на брюхе лежал: спина гнила. Блох да вшей было много. Хотел на Пашкова кричать: „прости!“ — да сила Божия возбранила, — велено терпеть. Перевел меня в теплую избу, и я тут с аманатами* и с собаками жил скован зиму всю. А жена с детьми верст с двадцать

* (распоп) поп-расстрига

** дикий

*** топор, кирка

**** раздев

***** промолвил, сказал

***** уступа, глубоких обрыва в реке

***** тяжко, грустно

была сослана от меня. Баба ея Ксения мучила зиму ту всю, — лаяла да укоряла. Сын Иван — невелик был — прибрел ко мне побывать после Христова рождества, и Пашков велел кинуть в студеную тюрьму, где я сидел: начевал милой и замерз было тут. И на утро опять велел к матери протолкать. Я ево и не видал. Приволокся к матери, — руки и ноги ознобил.

На весну паки поехали впрядь. Запасу небольшое место осталось, а первой разграблен весь: и книги и одежда иная отнята была, а иное и осталось. На Байкалове море паки тонул. По Хилке по реке заставил меня лямку тянуть: зело нужен ход ею был, — и поесть было неколи, нежели спать. Лето целое мучилися. От водяные тяготы люди изгибали, и у меня ноги и живот синь был. Два лета в водах бродили, а зимами чрез волоки волочилися. На том же Хилке в третье тонул. Барку от берегу оторвало водою, — людские стоят, а мою ухватило, да и понесло! Жена и дети остались на берегу, а меня сам-друг с кормщиком помчалю. Вода быстрая, переворачивает барку вверх боками и дном; а я на ней ползаю, а сам кричу: „Владычице, помози! упование, не утопи!“ Иное ноги в воде, а иное выползу наверх. Несло с версту и больши; да люди переняли. Все розмыло до крохи! Да што петь** делать, коли Христос и пречистая Богородица изволили так? Я, вышед из воды, смеюсь; а люди-то охают, платье мое по кустам развешивая, шубы отласные и тафтяные, и кое-какие безделицы тое много еще было в чемоданах да в суммах; все с тех мест перегнило — наги стали. А Пашков меня же хочет опять бить: „ты-де над собою делаешь за посмех!“ И я паки свету-Богородице докучать: „Владычица, уйми дурака тово!“ Так она-надежа уняла: стал по мне тужить.



Автограф протопопа Аввакума

* заложниками

** опять

Потом доехали до Иргеня озера: волок тут, — стали зимою волочитца. Моих работников отнял, а иным у меня нанятца не велит. А дети маленьки были, едоков много, а работать некому: один бедной горемыка-протопоп нарту сделал и зиму всю волочился за волок. Весною на плотках по Ингоде реке поплыли на низ. Четвертое лето от Тобольска плаванию моему. Лес гнали хорошей и городской. Стало нечева есть; люди учили с голоду мереть и от работных водяных бродни. Река мелкая, плоты тяжелые, приставы немилостивые, палки большие, батоги суковатые, кнуты острые, пытки жестокие — огонь да встряска, люди голодные: лишю станут мучить-ано и умрет! Ох, времени тому! Не знаю, как ум у него отступился. У протопопицы моей однорядка* московская была, не сгнила, — по-русскому рублев в полтретьятцет и больши потамошнему. Дал нам четыре мешка ржи за нея, и мы год-другой тянулись, на Нерче реке живучи, с травой перебиваючися. Все люди с голоду поморил, никуды не отпускал промышлять, — осталось небольшое место; по степям скитаючися и по полям, траву и корение копали, а мы — с ними же; а зимою — сосну; а иное кобылятины Бог даст, и кости находили от волков пораженных зверей, и что волк не доест, мы то доедим. А иные и самых озяблых ели волков, и лисиц, и что получит — всякую скверну. Кобыла жеребенка родит, а голодные втай и жеребенка и место скверное кобылье съедят. А Пашков, сведав, и кнутом до смерти забьет. И кобыла умерла, — все извод взял, понеже не по чину жеребенка тово вытащили из нея: лишю голову появил, а оне и выдернули, да и почали кровь скверную есть. Ох, времени тому! И у меня два сына маленьких умерли в нуждах тех, а с прочими, скитаючися по горам и по остроуму камению, наги и боси, травой и корением перебиваючися, кое-как мучилися. И сам я, грешной, волею и неволею причастен кобыльим и мертвечьим звериным и птичьим мясам. Увы грешной душе! Кто даст главе моей воду и источник слез, да же оплачу бедную душу свою, юже зле погубих житейскими сладьми? Но помогала нам по Христе болярона, воеводская сноха, Евдокея Кирилловна, да жена ево, Афонасьева, Фекла Симеоновна: оне нам от смерти голодной тайно давали отраду, без ведома ево, — иногда пришлют кусок мясца, иногда колобок**, иногда мучки и овсеца, колько сойдется, четверть пуда и гривенку-другую***, а иногда и полпудика накопит и передаст, а иногда у коров корму из корыта нагребет. Дочь моя, бедная горемыка Огрофена, бродила втай к ней под окно. И горе, и смех! — иногда робенка погонят от окна без ведома бояронина, а иногда и многонокко притащит. Тогда невелика была; а ныне уж ей 27 годов, — девицею, бедная моя, на Мезени, с меньшими сестрами перебиваяся кое-как, плачючи живут. А мать и братья в земле закопаны сидят. Да што же делать? пускай горькие мучатся все ради Христа! Быть тому так за Божию помощь. На том положено, ино мучитца веры ради Христовы. Любил, протопоп, со славными знатца, люби же и терпеть, горемыка, до конца. Писано: „не начный блажен, но скончавый“. Полно тово; на первое возвратимся.

Было в Даурской земле нужды великие годов с шесть и с семь, а во иные годы отрадило. А он, Афонасей, наветуя мне, беспрестанно смерти мне искал. В той же нужде прислал ко мне от себя две вдовы, — сенная ево любимые были, — Марья да Софья, одержимы духом нечистым. Ворожа и колдуя много над ними, и видит, яко ничто же успеваает, но паче молва бывает, — зело жестоко их бес мучит, бьются и кричат, — призвал меня и поклонился мне, говорит: „пожалуй, возьми их ты и попекися об них, Бога моля; послушает тебя Бог“. И я ему отвечал: „Господине! выше меры прошение; но за молитв святых отец наших вся возможна суть Богу“. Взял их, бедных. Простите! Во искусе то на Руси бывало, — человека три-четыре бешаных приведших бывало в дому моем, и, за молитв святых отец, отхождаху от них беси, действием и повелением Бога живаго и Господа нашего Исуса Христа, сына Божия-света. Слезами и водою покроплю и маслом помажу, молебная певше во имя Христово, и сила Божия отгоняше от

* (однорядка) однобортный кафтан

** небольшой круглый хлебец, толстая лепешка

*** гривенка — мера веса

человек бесы, и здрави бываху, не по достоинству моему, — никак же, — но по вере приходящих. Древле благодать действовала ослом при Валааме, и при Улиане мученике — рысью, и при Сисинии — оленем: говорили человеческим гласом. Бог идеже хочет, побеждается естества чин. Чти житие Феодора Едесского, тамо обрящещи: и блудница мертвого воскресила. В Кормчей писано: не всех Дух Святой рукополагает, но всеми, кроме еретика, действует. Также привели ко мне баб бешаных; я, по обычаю, сам постился и им не давал есть, молебствовал, и маслом мазал, и, как знаю, действовал; и бабы о Христе целоумны и здравы стали. Я их исповедал и причастил. Живут у меня и молятся Богу; любят меня и домой не идут. Сведаль он, что мне учинились дочери духовные, осердился на меня опять пуще старова, — хотел меня в огне сжечь: „ты-де выведываешь мое тайны!“ А как петь-су причастить, не исповедав? А не причастив бешанова, ино беса совершенно не отгонишь. Бес-от ведь не мужик: батого не боится; боится он креста Христова, да воды святыя, да священнаго масла, а совершенно бежит от тела Христова. Я, кроме сих таин, врачевать не умею. В нашей православной вере без исповеди не причащают; в римской вере творят так, — не брегут о исповеди; а нам, православие блюдушим, так не подобает, но на всяко время покаяние искати. Аще священника, нужды ради, не получишь, и ты своему брату искусному возвести согрешение свое, и Бог простит тя, покаяние твое виде, и тогда с правильцом* причащайся святых таин. Держи при себе запасный агнец**. Аще в пути или на промыслу, или всяко прилучится, кроме церкви, воздохня пред Владыкою и, по вышереченному, ко брату исповедався, с чистою совестью причастися святыни: так хорошо будет! По посте и по правиле пред образом Христовым на коробочку постели платочик и свечку зажги, и в сосуде водицы маленько, да на ложечку почерпни и часть тела Христова с молитвою в воду на ложку положи и кадиллом вся покади поплакав, глаголи: „Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси Христос сын Бога живаго, пришедый в мир грешники спасти, от них же первый есмь аз. Верую, яко воистинну се есть самое пречистое тело Твое, и се есть самая честная кровь Твоя. Его же ради молю Ти ся, помилуй мя и прости ми и ослаби ми согрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, яже разумом и мыслию, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Ти таинств во оставление грехов и в жизнь вечную, яко благословен еси во веки. Аминь“. Потом, падше на землю пред образом, прощение проговори и, восстав, образы поцелуй и, прекрестясь, с молитвою причастися и водицею запей и паки Богу помолись. Ну, слава Христу! Хотя и умрешь после того, ино хорошо. Полно про то говорить. И сами знаете, что доброе дело. Стану опять про баб говорить.

Взял Пашков бедных вдов от меня; бранит меня вместо благодарения. Он чаял: Христос просто положит; ано пущи и старова стали беситца. Запер их в пустую избу, ино никому приступу нет к ним; призвал к ним чернова попа, и оне ево дровами бросают, — и поволокся прочь. Я дома плачу, а делать не ведаю что. Приступить ко двору не смею: больно сердит на меня. Тайно послал к ним воды святыя, велел их умыть и напоить, и им, бедным, легче стало. Прибтели сами ко мне тайно, и я помазал их во имя Христова маслом, так опять, дал Бог, стали здоровы и опять домой пошли да по ночам ко мне прибегали тайно молитца Богу. Изрядные детки стали, играть перестали и правильца держатца стали. На Москве с бояронею в Вознесенском монастыре вселились. Слава о них Богу!

Также с Нерчи реки паки назад возвратилися к Русе. Пять недель по льду голому ехали на нартах***. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопица брели пеши, убивающися о лед. Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошедьми итти не поспеем, голодные и томные люди. Протопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кользко гораздо! В иную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек

* правило — частное Богослужение, особые молитвы, произносимые как духовенством, так и мирянами

** частица из просфоры, вынимаемая в честь Иисуса Христа и, по учению православной церкви, в определенный момент литургии претворяющаяся в тело Христово

*** сани для езды на собаках и на оленях

на нее набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: „матушка-государыня, прости!“ А протопопица кричит: „что ты, батько, меня задавил?“ Я пришел, — на меня, бедная, пеняет, говоря: „долго ли муки сея, протопоп, будет?“ И я говорю: „Марковна, до самая смерти!“ Она же, вздохня, отвечала: „добро, Петрович, ино еще побредем“.

Курочка у нас черненька была; по два яичка на день приносила робяти на пищу, Божиим повелением нужде нашей помогая; Бог так строил. На нарте везучи, в то время удавили по грехом. И нынеча мне жаль курочки той, как на разум приидет. Ни курочка, ни што чудо была: во весь год по два яичка на день давала; сто рублей при ней плюново дело, железо! А та птичка одушевленна, Божие творение, нас кормила, а сама с нами кашку сосновую из котла тут же клевала, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала; а нам против того по два яичка на день давала. Слава Богу, вся строившему благая! А не просто нам она и досталася. У боярони куры все переслепли и мереть стали; так она, собравше в короб, ко мне их принесла, чтоб-де батько пожаловал — помолился о курах. И я-су подумал: кормилица то есть наша, детки у нея, надобно ей курки. Молебен пел, воду святил, куров кропил и кадил; потом в лес сбродил, корыто им сделал, из чево есть, и водою покропил, да к ней все и отослал. Куры Божиим мановением исцелели и исправилися по вере ея. От тово-то племяни и наша курочка была. Да полно тово говорить! У Христа не сегодня так повелось. Еще Козма и Дамиян человеком и скотом благодествовали и целили о Христе. Богу вся надобно: и скотинка и птичка во славу Его, пречистаго Владыки, еще же и человека ради.

Таже приволоклись паки на Иргень озеро. Бояроня пожаловала, — принесла сковородку пшеницы, и мы кутьи наелись. Кормилица моя была Евдокея Кирилловна, а и с нею дьявол ссорил, сице: сын у нея был Симеон, — там родился, я молитву давал и крестил, на всяк день присылала ко мне на благословение, и я, крестом благословя и водою покропя, поцеловав ево, и паки отпускаю; дитя наше здорово и хорошо. Не прилучилось меня дома; занемог младенец. Смалодушничава, она, осердясь на меня, послала робенка к шептуну-мужику. Я, сведав, осердился ж на нея, и меж нами пря велика стала быть. Младенец пуци занемог; рука правая и нога засохли, что батожки. В зазор пришла; не ведает, что делать, а Бог пуци угнетает. Робеночек на кончину пришел. Пестуны, ко мне приходя, плачют; а я говорю: „коли баба лиха, живи себе же одна!“ А ожидаю покаяния ея. Вижу, что ожесточил дьявол сердце ея; припал ко Владыке, чтоб образумил ея. Господь же, премилостивый Бог, умягчил ниву сердца ея: прислала на утро сына среднева Ивана ко мне, — со слезами просит прощения матери своей, ходя и кланяясь около печи моей. А я лежу под берестом наг на печи, а протопопица в печи, а дети кое-где: в дождь прилучилось, одежды не стало, а зимовье каплет, — всяко мотаемся. И я, смиряя, приказываю ей: „вели матери прощения просить у Орефы колдуна“. Потом и больнова принесли, велела перед меня положить; и все плачут и кланяются. Я-су встал, добыл в грязи патрахель* и масло священное нашел. Помоля Бога и покадя, младенца помазал маслом и крестом благословил. Робенок, дал Бог, и опять здоров стал, — с рукою и с ногою. Водою святою ево напоил и к матери послал. Виждь, слышателю, покаяние матерне колику силу сотвори: душу свою изврачевала и сына исцелила! Чему быть? — не сегодня кающихся есть Бог! На утро прислала нам рыбы да пирогов, а нам то, голодным, надобе. И с тех мест помирились. Выехав из Даур, умерла, миленькая, на Москве; я и погребал в Вознесенском монастыре. Сведал то и сам Пашков про младенца, — она ему сказала. Потом я к нему пришел. И он, поклоняся низенько мне, а сам говорит: „спаси Бог! отечески творишь, — не помнишь нашава зла“. И в то время пици довольно прислал.

А опосле тово вскоре хотел меня пытать; слушай, за что. Отпускал он сына своево Еремея в Мунгальское царство воевать, — казаков с ним 72 человека да иноземцов 20 человек, — и заставил иноземца шаманить, сиречь гадать: удастлися им и с победою ли будут домой? Волхв же той мужик, близ моего зимовья, привел барана живова в вечер и учал над ним волхвовать, вертя ево много, и голову прочь отвертел и прочь отбросил. И начал скакать, и плясать, и

* (епитрахиль) часть облачения священника

бесов призывать и, много кричав, о землю ударился, и пена изо рта пошла. Беси давили ево, а он спрашивал их: „удастся ли поход?“ И беси сказали: „с победою великою и с Богатством большим будете назад“. И воеводы ради, и все люди радуясь говорят: „Богаты приедем!“ Ох, душе моей тогда горько и ныне не сладко! Пастырь худой погубил своя овцы, от горести забыл реченное во Евангелии, егда Зеведеевичи на поселян жестоких советовали: „Господи, хоцещи ли, рече, да огонь снидет с небесе и потребит их, яко же и Илия сотвори. Обращжесе Иисус и рече им: не веста, коего духа еста вы; Сын бо человеческий не прииде душ человеческих погубити, но спасти. И идоша во ину весь“. А я, окаянной, сделал не так. Во хлевине своей кричал с воплем ко Господу: „послушай мене, Боже! послушай мене, Царю Небесный, Свет, послушай меня! да не возвратится вспять ни един от них, и гроб им там устроивши всем, приложи им зла, Господи, приложи, и погибель им наведи, да не сбудется пророчество дьявольское!“ И много тово было говорено. И втайне о том же Бога молил. Сказали ему, что я так молюсь, и он лишь изляял меня. Потом отпустил с войском сына своего. Ночью поехали по звездам. В то время жаль мне их: видит душа моя, что им побитым быть, а сам таки на них погибели молю. Иные, приходя, прощаются ко мне; а я им говорю: „погибнете там!“ Как поехали, лошади под ними взоржали вдруг, и коровы тут взревели, и овцы и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами иноземцы, что собаки, завыли; ужас на всех напал. Еремей весть со слезами ко мне прислал: чтоб батюшко-государь помолился за меня. И мне ево стало жаль. А се друг мне тайной был и страдал за меня. Как меня кнутом отец ево бил, и стал разговаривать отцу, так со шпагою погнался за ним. А как приехали после меня на другой порог, на Падун, 40 дощенников все прошли в ворота, а ево, Афонасьев, дощенник, — снасть добрая была, и казаки все шесть сот промышляли о нем, а не могли взвести, — взяла силу вода, паче же рещи, Бог наказал! Стащило всех в воду людей, а дощенник на камень бросила вода: через ево льется, а в нево нейдет. Чюдо, как то Бог безумных тех учит! Он сам на берегу, бояроня в дощеннике. И Еремей стал говорить: „батюшко, за грех наказует Бог! напрасно ты протопота тово кнутом тем избил; пора покаятца, государь!“ Он же рыкнул на него, яко зверь, и Еремей, к сосне отклонясь, прижав руки, стал, а сам, стоя, „Господи помилуй!“ говорит, Пашков же, ухватя у малова колешчатую* пищаль, — никогда не лжет, — приложася на сына, курок спустил, и Божию волею осеклася пищаль. Он же, поправя порох, опять спустил, и паки осеклась пищаль. Он же и в третьи также сотворил; пищаль и в третьи осеклася же. Он ее на землю и бросил. Малой, подняв, на сторону спустил; так и выстрелила! А дощенник единиче** на камени под водою лежит. Сел Пашков на стул, шпагою подперся, задумався и плакать стал, а сам говорит: „согрешил, окаянной, пролил кровь неповинну, напрасно протопота бил; за то меня наказует Бог!“ Чюдно, чюдно! по писанию: „яко косен Бог во гнев, а скор на послушание“; дощенник сам, покаяния ради, сплыл с камени и стал носом против воды; потянули, он и взбежал на тихое место тотчас. Тогда Пашков, призвав сына к себе, промолыл ему: „прости, барте***, Еремей, правду ты говоришь!“ Он же, прискоча, пад, поклонися отцу и рече: „Бог тебя, государя, простит! я пред Богом и пред тобою виноват!“ И взяв отца под руку, и повел. Гораздо Еремей разумен и добр человек: уж у него и своя седа борода, а гораздо почитает отца и боится его. Да по писанию и надобе так: Бог любит тех детей, которые почитают отцов. Виждь, слышателю, не страдал ли нас ради Еремей, паче же ради Христа и правды Его? А мне сказывал кормщик ево, Афонасьева, дощенника, — тут был, — Григорей Тельной. На первое возвратимся.

Отнеле**** же отошли, поехали на войну. Жаль стало Еремея мне: стал Владыке докучать, чтоб ево пощадил. Ждали их с войны, — не бывали на срок. А в те поры Пашков меня и к себе не пускал. Во един от дней учредил застенок и огонь росклал — хочет меня пытатъ. Я ко исходу душевному и молитвы проговорил; ведаю ево стряпанье, — после огня тово мало у него живут.

* на колесах

** одинаково

*** (борте) пожалуй, пусть

**** с тех пор, как, когда, откуда

А сам жду по себя и, сидя, жене плачущей и детям говорю: „воля Господня да будет! Аще живем, Господеви живем; аще умираем, Господеви умираем“. А се и бегут по меня два палача. Чюдно дело Господне и неизреченны судьбы Владычни! Еремей ранен сам-друг дорожкой мимо избы и двора моего едет, и палачей вскричал и воротил с собою. Он же, Пашков, оставя застенок, к сыну своему пришел, яко пьяной с кручины. И Еремей, поклоняся со отцем, вся ему подробну возвещает: как войско у него побили все без остатку, и как ево увел иноземец от мунгальских людей по пустым местам, и как по каменным горам в лесу, не ядше, блудил седьм дней, — одну съел белку, — и как моим образом человек ему во сне явился и, благословя ево, указал дорогу, в которую страну ехать, он же, вскоча, обрадовался и на путь выбрел. Егда он отцу рассказывает, а я пришел в то время поклонитися им. Пашков же, возвед очи свои на меня, — слово в слово что медведь морской белой, жива бы меня проглотил, да Господь не выдаст! — вздохня, говорит: „так-то ты делаешь? людей тех погубил столько!“ А Еремей мне говорит: „батюшко, поди, государь, домой! молчи для Христа!“ Я и пошел.

Десеть лет он меня мучил или я ево — не знаю; Бог разберет в день века. Перемена ему пришла, и мне грамота: велено ехать на Русь. Он поехал, а меня не взял; умышлял во уме своем: „хотя-де один и поедет, и ево-де убьют иноземцы“. Он в дощениках со оружием и с людьми плыл, а слышал я, едучи, от иноземцев: дрожали и боялись. А я, месяц спустя после ево, набрав старых и больных и раненых, кои там негодны, человек с десятков, да я с женою и с детьми — семнадцать нас человек, в лодку седше, уповая на Христа и крест поставя на носу, поехали, амо же Бог наставит, ничево не бояся. Книгу Кормчию дал прикащику, и он мне мужика кормщика дал. Да друга моего выкупил, Василия, которой там при Пашкове на людей ябедничал и крови проливал и моя головы искал; в ыную пору, бивше меня, на кол было посадил, да еще Бог сохранил! А после Пашкова хотели ево казаки до смерти убить. И я, выпрося у них Христа рада, а прикащику выкуп дав, на Русь ево вывез, от смерти к животу, — пускай ево, беднова! — либо покается о гресех своих. Да и другова такова же увез замотая. Сего не хотели мне выдать; а он ушел в лес от смерта и, дождався меня на пути, плачючи, кинулся мне в карбас*. Ано за ним погоня! Деть стало негде. Я-су, — простите! — своровал: яко Раав блудная во Ерихоне Иисуса Наввина людей, спрятал ево, положи на дно в судне, и постелею накиннул, и велел протопопице и дочери лечи на нево. Везде искали, а жены моей с места не тронули, — лишю говорят: „матушка, опочивай ты, и так ты, государыня, горя натерпелась!“ А я, — простите Бога ради, — лгал в те поры и сказывал: „нету ево у меня!“ — не хотя ево на смерть выдать. Поискав, да и поехали ни с чем; а я ево на Русь вывез. Старец да и раб Христов, простите же меня, что я лгал тогда. Каково вам кажется? не велико ли мое согрешение? При Рааве блуднице, она, кажется, так же сделала, да писание ея похваляет за то. И вы, Бога ради, порассудите: буде грехотворно я учинил, и вы меня простите; а буде церковному преданию не противно, ино и так ладно. Вот вам и место оставил: припишите своею рукою мне, и жене моей, и дочери или прощение или епитимию, понеже мы за одно воровали — от смерти человека ухоронили, ища ево покаяния к Богу. Судите же так, чтоб нас Христос не стал судить на страшном суде сего дела. Припиши же что-нибудь, старец.

Бог да простит тя и благословит в сем веце и в будущем, и подружью твою Анастасию, и дщерь вашу, и весь дом ваш. Добро сотворили есте и праведно. Аминь.

Добро, старец, спаси Бог на милостыни! Полно тово.

Прикащик же мучки гривенок с тридцетъ дал, да коровку, да овечок пять-шесть, мяско иссуша; и тем лето питались, пловучи. Доброй прикащик человек, дочь у меня Ксенью крестил. Еще при Пашкове родилась, да Пашков не дал мне мира и масла, так не крещена долго была, — после ево крестил. Я сам жене своей и молитву говорил и детей крестил с кумом с прикащиком, да дочь моя большая кума, а я у них поп. Тем же образцом и Афонасья сына крестил и, обедню служа на Мезени, причастил. И детей своих исповедывал и причащал сам же, кроме жены своея; есть о том в правилах, — велено так делать. А что запрещение то

* большая перевозная лодка на четыре-десять весел

отступническое, и то я о Христе под ноги кладу, а клятвою тою, — дурно молвить! — гузно* тру. Меня благословляют московские святители Петр, и Алексей, и Иона, и Филипп, — я по их книгам верую Богу моему чистою совестью и служу; а отступников отрицаюся и клену, — враги они Божии, не боюсь я их, со Христом живучи! Хотя на меня каменья накладут, я со отеческим преданием и под каменьем лежу, не токмо под шпынскою воровскою никониянскою клятвою их. А што много говорить? Плюнуть на действие то и службу ту их, да и на книги те их новоизданныя, — так и ладно будет! Станем говорить, како угодити Христу и пречистой Богородице, а про воровство их полно говорить. Простите, барте, никонияне, что избранил вас; живите, как хотите. Стану опять про свое горе говорить, как вы меня жалуете-потчиваете: 20 лет тому уж прошло; еще бы хотя столько же Бог пособил помучитца от вас, ино бы и было с меня, о Господе бозе и Спасе нашем Иусе Христе! А затем сколько Христос даст, только и жить. Полно тово, — и так далеко забрел. На первое возвратимся.

Поехали из Даур, стало пищи скудять и с братиею Бога помолили, и Христос нам дал изубря, большова зверя, — тем и до Байкалова моря доплыли. У моря русских людей наехала станица соболиная, рыбу промышляет; рады, миленькие, нам, и с карбасом нас, с моря ухватя, далеко на гору несли Терентьюшко с товарищи; плачють, миленькие, глядя на нас, а мы на них. Надавали пищи сколько нам надобно: осетров с сорок свежих перед меня привезли, а сами говорят: „вот, батюшко, на твою часть Бог в запоре** нам дал, — возьми себе всю!“ Я, поклонясь им и рыбу благословя, опять им велел взять: „на што мне столько?“ Погостя у них, и с нужду запасцу взяв, лодку починя и парус скропав, чрез море пошли. Погода окинула на море, и мы гребми перегреблись: не больно о том месте широко, — или со сто, или с осмьдесят верст. Егда к берегу пристали, востала буря ветреная, и на берегу насилу место обрели от волн. Около ево горы высокие, утесы каменные и зело высоки, — двадцеть тысяч верст и больши волочился, а не видал таких нигде. Наверху их полатки и повалуши***, врата и столпы, ограда каменная и дворы, — все Богоделанно. Лук на них растет и чеснок, — больши романовскаго луковицы, и сладок зело. Там же растут и конопли Богорасленныя****, а во дворах травы красныя и цветны и благовонны гораздо. Птиц зело много, гусей и лебедей по морю, яко снег, плавают. Рыба в нем — осетры, и таймени*****, стерледи, и омули*, и сиги, и прочих родов много. Вода пресная, а нерпы** и зайцы великия в нем: во окиане море большом, живучи на Мезени, таких не видал. А рыбы зело густо в нем: осетры и таймени жирни гораздо, — нельзя жарить на сковороде: жир все будет. А все то у Христа тово-света наделано для человек, чтоб, успокояся, хвалу Богу воздавал. А человек, суете которой уподобится, дние его, яко сень, переходят; скачет, яко козел; раздувается, яко пузырь; гневается, яко рысь; съестъ хочет, яко змия; ржет зря на чужую красоту, яко жребя; лукавует, яко бес; насыщаяся довольно; без правила спит; Бога не молит; отлагает покаяние на старость и потом исчезает и не вем, камо отходит: или во свет ли, или во тьму, — день судный коегождо явит. Простите мя, аз согрешил паче всех человек.

Таже в русские грады приплыл и уразумел о церкви, яко ничто ж успевае, но паче молва бывает. Опечался, сидя, рассуждаю: что сотворю? проповедаю ли слово Божие или скроюся где? Понеже жена и дети связали меня. И виде меня печальна, протопопица моя приступи ко мне со опрятством*** и рече ми: „что, Господине, опечалился еси?“ Аз же ей подробно известих: „жена, что сотворю? зима еретическая на дворе; говорить ли мне или молчать? — связали вы меня!“ Она же мне говорит: „Господи помилуй! что ты, Петрович, говоришь? Слыхала я, —

* зад

** плетень поперек реки для ловли рыбы

*** летние холодные спальни

**** возвращенные Богом

***** байкальская щука, сибирский лосось

* рыба из рода лососей или сигов

** тюлени

*** с осторожностью, деликатностью

ты же читал, — апостольскую речь: „привязался еси жене, не ищи разрешения; егда отрешитишься, тогда не ищи жены“. Аз ты и с детьми благословляю: дерзай проповедати слово Божие попрежнему, а о нас не тужи; дондеже Бог изволит, живем вместе; а егда разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай; силен Христос и нас не покинуть! Поди, поди в церковь, Петрович, — обличай блудную еретическую!“ Я-су ей за то челом и, отрясше от себя печальную слепоту, начав попрежнему слово Божие проповедати и учити по градом и везде, еще же и ересь никониянскую со дерзновением обличал.

В Енисейске зимовал и паки, лето плывше, в Тобольске зимовал. И до Москвы едучи, по всем городам и селам, во церквах и на торгах кричал, проповедая слово Божие, и уча, и обличая безбожную лесь. Таже приехал к Москве. Три годы ехал из Даур, а туды волокся пять лет против воды; на восток все везли, промежду иноземских орд и жилищ. Много про то говорить! Бывал и в иноземских руках. На Оби великой реке предо мною 20 человек погубили христиан, а надо мною думав, да и отпустили совсем. Паки на Иртыше реке собрание их стоит: ждуть березовских наших с дощенником и побить. А я, не ведаючи, и приехал к ним и, приехав, к берегу пристал: оне с луками и обскочили нас. Я-су, вышед, обниматца с ними, што с чернцами, а сам говорю: „Христос со мною, а с вами той же!“ И оне до меня и добры стали и жены своя к жене моей привели. Жена моя также с ними лицемеритца, как в мире лесь совершается; и бабы удобрились. И мы то уже знаем: как бабы бывают добры, так и все о Христе бывает добро. Спрятали мужики луки и стрелы своя, торговать со мною стали, — медведев* я у них накупил, — да и отпустили меня. Приехав в Тобольск, сказываю; ино люди дивятся тому, понеже всю Сибирь башкирцы с татарами воевали тогда. А я, не разбираючи, уповаю на Христа, ехал посреде их. Приехал на Верхотурье, — Иван Богданович Камынин, друг мой, дивится же мне: „как ты, протопоп, проехал?“ А я говорю: „Христос меня пронес, и пречистая Богородица провела; я не боюсь никою; одново боюсь Христа“.

Таже в Москве приехал, и, яко ангела Божия, прияша мя государь и бояря, — все мне ради. К Федору Ртищеву зашел: он сам из полатки выскочил ко мне, благословился от меня, и учили говорить много-много, — три дни и три нощи домой меня не отпустил и потом царю обо мне известил. Государь меня тотчас к руке поставить велел и слова милостивые говорил: „здорово ли-де, протопоп, живешь? еще-де видатца Бог велел!“ И я сопотив руку ево поцеловал и пожал, а сам говорю: жив Господь, и жива душа моя, царь-государь; а впредь что изволит Бог!“ Он же, миленькой, вздохнул, да и пошел, куды надобе ему. И иное кое-что было, да што много говорить? Прошло уже то! Велел меня поставить на монастырском подворье в Кремле и, в походы мимо двора моего ходя, кланялся часто со мною низенько-таки, а сам говорит: „благослови-де меня и помолися о мне!“ И шапку в ыную пору, мурманку, снимаючи с головы, уронил, едучи верхом. А из кореты высунется, бывало, ко мне. Таже и вся бояря после ево челом да челом: „протопоп, благослови и молися о нас!“ Как-су мне царя тово и бояр тех не жалеть? Жаль, о-су! видишь, каковы были добры! Да и ныне оне не лихи до меня; дьявол лих до меня, а человеки все до меня добры. Давали мне место, где бы я захотел, и в духовники звали, чтоб я с ними соединился в вере; аз же вся сии яко уметы вменил, да Христа приобрящу, и смерть поминая, яко вся сия мимо идет.

А се мне в Тобольске в тонце сне страшно возвещено (блюдися, от меня да не полма растесан** будеши). Я вскочил и пал пред иконою во ужасе велице, а сам говорю: „Господи, не стану ходить, где по-новому поют, Боже мой!“ Был я у завтрени в соборной церкви на царевнины именины, — шаловал*** с ними в церкви той при воеводах; да с приезде смотрел у них просвиромисания**** дважды или трожды, в олгаре у жертвенника стоя, а сам им ругался; а как привык ходить, так и ругатца не стал, — что жалом, духом антихристовым и ужалило было.

* у купцов — залежавшийся товар

** пополам рассечен

*** шалил, проказил

**** просвиромисание — совершение так называемой „проскомидии“, части литургии

Так меня Христос-свет попужал и рече ми: „по толиком страдании погубнуть хочешь? блюдися, да не полма рассеку тя!“ Я и к обедне не пошел и обедать ко князю пришел и вся подробну им возвестил. Боярин, миленькой князь Иван Андреевич Хилков, плакать стал. И мне, окаянному, много столько Божия благодеяния забыть?

Егда в Даурах я был, на рыбной промысл к детям по льду зимою по озеру бежал на базлуках*; там снегу не живет, морозы велики живут, и льды толсты замерзают, — близко человека толщины; пить мне захотелось и, гараздо от жажды томим, итти не могу; среди озера стало: воды добыть нельзя, озеро верст с восемь; стал, на небо взирая, говорить: „Господи, источивый из камени в пустыни людям воду, жаждущему Израилю, тогда и днесь Ты еси! напой меня, ими же веси судьбами, Владыко, Боже мой!“ Ох, горе! не знаю, как молыть; простите, Господа ради! Кто есмь аз? умерый** пес! — Затрещал лед предо мною и расступился чрез все озеро сюду и сюду и паки снидися: гора великая льду стала, и, дондеже уряжение*** бысть, аз стах на обычном месте и, на восток зря, поклонихся дважды или трижды, призывая имя Господне краткими глаголы из глубины сердца. Оставил мне Бог пролубку маленьку, и я, падше, насытился. И плачу и радуюся, благодаря Бога. Потом и пролубка содвинулася, и я, встав, поклоняся Господеви, паки побежал по льду куды мне надобе, к детям. Да и в прочии времена в волоките моей так часто у меня бывало. Идучи, или нарту волоку, или рыбу промышляю, или в лесе дрова секу, или ино что творю, а сам и правило в те поры говорю, вечерню, и заутреню, или часы — што прилучится. А буде в людях бывает неизворотно****, и станем на стану, а не по мне товарищи, правила моево не любят, а идучи мне нельзя было исполнить, и я, отступя людей под гору или в лес, коротенько сделаю — побьюся головою о землю, а иное и заплачется, да так и обедаю. А буде жо по мне люди, и я, на сошке***** складеньки***** поставя, правильца поговорю; иные со мною молятся, а иные кашку варят. А в санях едучи, в воскресныя дни на подворьях всю церковную службу пою, а в рядовыя дни, в санях едучи, пою; а бывало, и в воскресныя дни, едучи, пою. Егда гараздо неизворотно, и я хотя немножко, а таки поворчу. Яко же тело алчуще желает ясти и жаждуще желает пити, тако и душа, отче мой Епифаний, брашна***** духовнаго желает; не глад хлеба, ни жажда воды погубляет человека; но глад велий человеку — Бога не моля, жити.

Бывало, отче, в Даурской земле, — аще не поскучите послушать с рабом тем Христовым, аз, грешный, и то возвещу вам, — от немощи и от глада великаго изнемог в правиле своем, всего мало стало, только павечернишныя псалмы, да полунощницу, да час первой, а больши тово ничево не стало; так, что скотинка, волочюсь; о правиле том тужу, а принять ево не могу; а се уже и ослабел. И некогда ходил в лес по дрова, а без меня жена моя и дети, сидя на земле у огня, дочь с матерью — обе плачют. Огрофена, бедная моя горемыка, еще тогда была невелика. Я пришел из лесу — зело робенок рыдает; связавшуся языку ево, ничего не промолвить, мичит к матери, сидя; мать, на нее глядя, плачет. И я отдохнул и с молитвою приступил к робяти, рекл: „о имени Господни повелеваю ти: говори со мною! о чем плачешь?“ Она же, вскоча и поклоняся, ясно заговорила: „не знаю, кто, батюшко государь, во мне сидя, светленек, за язык-от меня держал и с матушкою не дал говорить; я тово для плакала, а мне он говорит: скажи отцу, чтобы он правило попрержнему правил, так на Русь опять все выедете; а буде правила не станет править, о нем же он и сам помышляет, то здесь все умрете, и он с вами же умрет“. Да и иное кое-что ей сказано в те поры было: как указ по нас будет и сколько друзей первых на Руси заедем, — все так и сбылося. И велено мне Пашкову говорить, чтоб и он вечерни и заутрени пел, так Бог ведро даст, и хлеб родится, а то были дожди беспрестанно;

* базлук — род подковы с шипами, которую рыбаки подвязывают к подошве для ходьбы по гладкому льду

** издохший, околевший

*** устройство

**** несподручно, неудобно

***** подставке

***** складную икону

***** брашно — пища

ячменцу было сеено небольшое место за день или за два до Петрова дни, — тотчас вырос, да и сгнил было от дождей. Я ему про вечерни и заутрени сказал, и он и стал так делать; Бог ведро дал, и хлеб тотчас поспел. Чудо-таки! Сеен поздо, а поспел рано. Да и паки бедной коварничать стал о Божием деле. На другой год насеел было и много, да дождь необычен излился, и вода из реки выступила и потопила ниву, да и все розмыло, и жилища наши розмыла. А до того николи тут вода не бывала, и иноземцы дивятся. Виджь: как поруга дело Божие и пошел странною, так и Бог к нему странным гневом! Стал смеятца первому тому извещению напоследок: робенок-де есть захотел, так и плакал! А я-су с тех мест за правило свое схватался, да и по ся мест тянусь помаленьку. Полно о том беседовать, на первое возвратимся. Нам надобе вся сия помнить и не забывать, всякое Божие дело не класть в небрежение и просто и не менять на прелесть сего суетнаго века.

Паки реку московское бытие. Видят оне, что я не соединяюся с ними, приказал государь уговаривать меня Родиону Стрешневу, чтоб я молчал. И я потешил ево: царь то есть от Бога учинен, а се добренек до меня, — чаял, либо помаленьку исправится. А се посулили мне Симеонова дни сесть на Печатном дворе книги править, и я рад сильно, — мне то надобно лутче и духовничества. Пожаловал, ко мне прислал десеть рублев денег, царица десеть рублев же денег, Лукьян духовник десеть рублев же, Родион Стрешнев десеть рублев же, а дружище наше старое Феодор Ртищев, тот и шестьдесят рублев казначею своему велел в шапку мне сунуть; а про иных и нечева и сказывать: всяк тащит да несет всячиною! У света моей, у Федосьи Прокопьевны Морозовы, не выходя жил во дворе, понеже дочь мне духовная, и сестра ее, княгиня Евдокея Прокопьевна, дочь же моя. Светы мои, мученицы Христовы! И у Анны Петровны Милославские покойницы всегда же в дому был. А к Федору Ртищеву бранитца со отступниками ходил. Да так-то с полгода жил, да вижу, яко церковное ничто же успеваает, но паче молва бывает, — паки заворчал, написав царю многонько-таки, чтоб он старое благочестие разыскал и мати нашу, общую святую церковь, от ересей оборонил и на престол бы патриаршеский пастыря православнова учинил вместо волка и отступника Никона, злодея и еретика. И егда письмо изготовил, занемоглось мне гораздо, и я выслал царю на переезд с сыном своим духовным, с Феодором юродивым, что после отступники удавили его, Феодора, на Мезени, повеся на виселицу. Он с письмом приступил к цареви корете со дерзновением, и царь велел ево посадить и с письмом под красное крыльцо, — не ведал, что мое; а опосле, взявше у него письмо, велел ево отпустить. И он, покойник, побывав у меня, паки в церковь пред царя пришед, учал юродством шаловать, царь же, осердясь, велел в Чюдов монастырь отслать. Там Павел архимарит и железа на него наложил, и Божиею волею железа рассыпалися на ногах пред людьми. Он же, покойник-свет, в хлебне той после хлебов в жаркую печь влез и голым гузном сел на полу и, крошки в печи побираючи, ест. Так чернцы ужаснулись и архимариту сказали, что ныне Павел митрополит, Он же и царю возвестил, и царь, пришед в монастырь, честно ево велел отпустить. Он же паки ко мне пришел. И с тех мест царь на меня кручиноват стал: не любо стало, как опять я стал говорить; любо им, когда молчу, да мне так не сошлось. А власти, яко козлы, пырскать стали на меня и умыслили паки сослать меня с Москвы, понеже раби Христовы многие приходили ко мне и, уразумевше истину, не стали к прелесной их службе ходить. И мне от царя выговор был: „власти-де на тебя жалуются, церкви-де ты запустошил, поедь-де в ссылку опять“. Сказывал боярин Петр Михайлович Салтыков. Да и повезли на Мезень, Надавали было кое-чево во имя Христово люди добрые много, да все и осталось тут; токмо с женою и детьми и с домочадцы повезли. А я по городам паки людей Божиих учил, а их, пестрообразных зверей, обличал. И привезли на Мезень.

Полтара года держав, паки одново к Москве взяли, да два сына со мною, — Иван да Прокопей, — съехали же, а протопопица и прочии на Мезени остались все. И привезше к Москве, отвезли под начал в Пафнутьев монастырь. И туды присылка была, — тож да тож говорят: „долго ли тебе мучить нас? соединишь с нами, Аввакумушко!“ Я отрицаюся, что от бесов, а оне лезут в глаза! Сказку* им тут с бранью с большою написал и послал с дьяконом

ярославским, с Козмою, и с подъячим двора патриарша. Козма та не знаю коего духа человек: въяве уговаривает, а втай подкрепляет меня, сице говоря: „протопоп! не отступай ты старова тово благочестия; велик ты будешь у Христа человек, как до конца претерпишь; не гляди на нас, что погибаем мы!“ И я ему говорил сопровтив, чтоб он паки приступил ко Христу. И он говорит: „нельзя; Никон опутал меня!“ Просто молить, отрекся пред Никоном Христа, также уже, бедной, не сможет встать. Я, заплакав, благословил ево, горюна; больши тово нечева мне делать с ним; ведает то Бог, что будет ему.

Таже, держав десеть недель в Пафнутьеве на чеши, взяли меня паки на Москву, и в крестовой, стязався власти со мною, ввели меня в соборной храм и стригли по переносе меня и дьякона Феодора, потом и проклинали; а я их проклинал сопровтив; зело было мятежно в обедню ту тут. И, подержав на патриархове дворе, повезли нас ночью на Угрешу к Николе в монастырь. И бороду враги Божии отрезали у меня. Чему быть? волки то есть, не жалеют овец! оборвали, что собаки, один хохол оставили, что у поляка, на лбу. Везли не дорогою в монастырь — болотами да грязью, чтоб люди не сведали. Сами видят, что дуруют, а отстать от дурна не хотят: омрачил дьвол, — что на них и пенять! Не им было, а быть же было иным; писанное время пришло по Евангелию: „нужда соблазнам приити“. Адругой глаголет евангелист: „невозможно соблазнам не приити, но горе тому, им же приходит соблазн“. Виждь, слышателю: необходимая наша беда, невозможно миновать! Сего ради соблазны попускает Бог, да же избрани будут, да же разжегутся, да же убелятся, да же искуснии явленни будут в вас. Выпросил у Бога светлую Россию сатона, да же очервленит ю кровию мученическою. Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо — Христа ради, нашего Света, пострадать!

Держали меня у Николы в студеной полатке семнадцать недель. Тут мне Божие присещение** бысть; чти в царева послании, тамо обрящеши. И царь приходил в монастырь; около темницы моя походил и, постовав, опять пошел из монастыря. Кажется потому, и жаль ему меня, да уж то воля Божия так лежит. Как стригли, в то время велико нестроение вверху у них бысть с царицею, с покойницею: она за нас стояла в то время, миленькая; напоследок и от казни отпросила меня. О том много говорить. Бог их простит! Я своево мучения на них не спрашиваю, ни в будущий век. Молитися мне подобает о них, о живых и о преставльшихся. Диявол между нами рассечение положил, а оне всегда добры до меня. Полно тово! И Воротынской бедной князь Иван тут же без царя молитца приезжал; а ко мне просился в темницу; ино не пустили горюна; я лишю, в окошко глядя, поплакал на него. Миленькой мой! боится Бога, сиротинка Христова; не покинет ево Христос! Всегда-таки он Христов да наш человек. И все бояре те до нас добры, один дьявол лих. Что-петь сделаешь, коли Христос попустил! Князь Ивана миленькова Хованскова и батожьем били, как Исаию сожгли. А боярону ту Федосью Морозову и совсем разорили, и сына у нея уморили, и ея мучат; и сестру ея Евдокею, бивше батогами, и от детей отлучили и с мужем розвели, а ево, князь Петра Урусова, на другой-де женили. Да что-петь делать? Пускай их, миленьких, мучат: небеснаго Жениха достигнут. Всяко то Бог их перепроводит век сей суетный, и присвоит к себе Жених небесный в чертог Свой, праведное солнце, Свет, Упование наше! Паки на первое возвратимся.

Посем свезли меня паки в монастырь Пафнутьев и там, заперши в темную полатку, скована держали год без мала. Тут келарь Никодим сперва добр до меня был, а се бедной больше тово же табаку испил, что у газского митрополита выняли напоследок 60 пудов, да додру, да иные тайные монастырские вещи, что поигравше творят. Согрешил, простите; не мое то дело: то ведает он; своему владыке стоит или падает. К слову молылось. То у них были любимые законоучителие. У сего келаря Никодима попросился я на велик день для праздника отдохнуть, чтоб велел, дверей отворя, на пороге посидеть; и он, наругав меня, и отказал жестоко, как ему захотелось; и потом, в келию пришед, разболелся: маслом соборовали и причащали, и тогда-сегда дохнет. То было в понедельник светлой. И в ноци против вторника прииде к нему муж во

* деловое показание, объяснение, отчет

** посещение, забота, попечение

образе моем, с кадилом, в ризах светлых, и покадил его и, за руку взяв, воздвигнул, и бысть здрав. И притече ко мне с келейником ночью в темницу, — идучи говорит: „блаженна обитель, — таковыя имеет темницы! блаженна темница — таковых в себе имеет страдальцов! блаженны и юзы*!“ И пал предо мною, ухватился за чепь, говорит: „прости, Господа ради, прости, согрешил пред Богом и пред тобою; оскорбил тебя, — и за сие наказал мя Бог“. И я говорю: „как наказал? повеждь ми“. И он паки: „а ты-де сам, приходя и покадя, меня пожаловал и поднял, — что-де запираешься!“ А келейник, тут же стоя, говорит: „я, батюшко государь, тебя под руку вывел из кельи, да и поклонился тебе, ты и пошел сюды“. И я ему заказал, чтоб людям не сказывал о тайне сей. Он же со мною спрашивался, как ему жить впредь по Христе, или-де мне велишь покинуть все и в пустыню пойти? Аз же его понаказав, и не велел ему келарства покидать, токмо бы, хотя втай, держал старое предание отеческое. Он же, поклоняся, отыде к себе и на утро за трапезою всей братье сказал. Людие же бесстрашно и дерзновенно ко мне побрели, просяще благословения и молитвы от меня; а я их учу от писания и пользую словом Божиим; в те времена и врази кои были, и те примирились тут. Увы! коли оставлю суетный век сей? Писано: „горе, ему же рекут добре вси человецы“. Воистину не знаю, как до краю доживать: добрых дел нет, а прославил Бог! То ведает Он, — воля Ево.



Аввакум

* узы

Тут же приезжал ко мне втай с детьми моими Феодор покойник, удушенной мой, и спрашивался со мною: „как-де прикажешь мне ходить — в рубашке ли по-старому или в платье облещись? — еретики-де ищут и погубить меня хотят. Был-де я на Резани под началом, у архиепископа на дворе, и зело-де он, Иларион, мучил меня, — редкой день плетью не бьет и скована в железах держал, принуждая к новому антихристову таинству. И я-де уже изнемог, в нощи моляся и плача говорю: Господи! аще не избавишь мя, осквернят меня, и погибну. Что тогда мне сотворишь? — И много плачючи говорил. — А се-де вдруг, батюшко, железа все грянули с меня, и дверь отперлась, и отворилась сама. Я-де Богу поклоняюсь, да и пошел; к воротам пришел — и ворота отворены! Я-де по большой дороге, к Москве напрямик! Егда-де рассветало, — ано погоня на лошедах! Трое человек мимо меня пробежали — не увидели меня. Я-де надеюся на Христа, бреду-таки впредь. Помале-де оне едут на встречу ко мне, лают меня: ушел-де, блядин сын, — где-де ево возьмешь! Да и опять-де проехали, не видали меня. И я-де ныне к тебе спроситца прибрел: туды ль-де мне опять мучитца пойти или, платье вздев, жить на Москве?“ — И я ему, грешной, велел вздеть платье. А однако не ухоронил от еретических рук, — удавили на Мезени, повеса на виселицу. Вечная ему память и с Лукою Лаврентьевичем! Детушки миленькие мои, пострадали за Христа! Слава Богу о них! Зело у Федора тово крепок подвиг был: в день юродствует, а нощь всю на молитве со слезами. Много добрых людей знаю, а не видал подвижника такова! Пожил у меня с полгода на Москве, — а мне еще не моглося, — в задней комнатке двое нас с ним, и, много, час-другой полежит да и встанет; 1000 поклонов отбросает, да сядет на полу и иное, стоя, часа с три плачет, а я таки лежу — иное сплю, а иное неможется; егда уж наплачется гораздо, тогда ко мне приступит: „долго ли тебе, протопоп, лежать тово, образумься, — ведь ты поп! как сорома нет?“ И мне неможется, так меня подымает, говоря: „встань, миленькой батюшко, — ну, таки встащися как-нибудь!“ Да и роскачает меня. Сидя мне велит молитвы говорить, а он за меня поклоны кладет. То-то друг мой сердечной был! Скорбен, миленькой, был с перетуги великия: черев из него вышло в одну пору три аршина, а в другую пору пять аршин. Неможет, а кишки перемеряет. И смех с ним и горе! На Устюге пять лет беспрестанно мерз на морозе бос, бродя в одной рубашке: я сам ему самовидец. Тут мне учинился сын духовной, как я из Сибири ехал. У церкви в полатке, — прибежал молитвы ради, — сказывал: „как-де от мороза тово в тепле том станешь, батюшко, отходить, зело-де тяжко в те поры бывает“, — по кирпичью тому ногами теми стучает, что коченьем*, а на утро и опять не болят. Псалтырь у него тогда была новых печатей в келье, — маленько еще знал о новизнах; и я ему росказал подробну про новья книги; он же, схватав книгу, тотчас и в печь кинул, да и проклял всю новизну. Зело у него во Христа горяча вера была! Да что много говорить? — как начал, так и скончал! Не на баснях проходил подвиг, не как я, окаянной; того ради и скончался Боголепне. Хорош был и Афонасьюшко — миленькой, сын же мне духовной, во иноцех Авраамий, что отступники на Москве в огне испекли, и яко хлеб сладок принесеса святей троице. До иночества бродил босиком же в одной рубашке и зиму и лето; только сей Феодора посмирнее и в подвиге малехнее покороче. Плакать зело же был охотник: и ходит и плачет. А с кем молыт, и у него слово тихо и гладко, яко плачет, Фердор же ревнив гораздо был и зело о деле Божии болезнен** : всяко тщится разорити и обличати неправду. Да пускай их! Как жили, так и скончались о Христе Иусе, Господе нашем.

Еще вам побеседую о своей волоките. Как привезли меня из монастыря Пафнутьева к Москве, и поставили на подворье, и, волоча многажды в Чюдов, поставили перед вселенских патриархов, и наши все тут же, что лисы, сидели, — эт писания с патриархами говорил много; Бог отверз грешные мое уста, и посрамил их Христос! Последнее слово ко мне рекли: „что-де ты упрям? вся-де наша Палестина, — и серби, и албанасы*, и волохи**, и римляне, и ляхи, —

* кочаном

** болезненный — соболезнующий, участливый

все-де трема персты крестятся, один-де ты стоишь во своем упорстве и крестишься пятью персты! — так-де не подобает!“ И я им о Христе отвечал сице: „вселеннии учителие! Рим давно упал и лежит невсклонно, и ляхи с ним же погибли, до конца враги быша христианом. А и у вас православие пестро стало от насилия турскаго*** Магмета, — да и дивить на вас нельзя: немощны есте стали. И впредь приезжайте к нам учитца: у нас, Божию благодатию, самодержство. До Никона отступника в нашей России у благочестивых князей и царей все было православие чисто и непорочно и церковь немятежна. Никон волк со дьяволом предали трема персты креститца; а первые наши пастыри, яко же сами пятью персты крестились, такожде пятью персты и благословляли по преданию святых отцов наших: Мелетия антиохийскаго и Феодора Блаженнаго, епископа киринейскаго, Петра Дамаскина и Максима Грека. Еще же и московский поместный бывый собор при царе Иване так же слагая персты креститися и благословляти повелевает, яко ж прежнии святии отцы, Мелетий и прочии, научиша. Тогда при царе Иване быша на соборе знаменосцы Гурий и Варсонофий, казанские чудотворцы, и Филипп, соловецкий игумен, от святых русских“. И патриарси задумалися; а наши, что волчонки, вскоча, завыли и блевать стали на отцев своих, говоря: „глупы-де были и не смыслили наши русские святые, не ученые-де люди были, — чему им верить? Они-де грамоте не умели!“ О, Боже святой! како претерпе святых своих толика досаждения? Мне, бедному, горько, а делать нечева стало. Побранил их, колько мог, и последнее слово рекл: „чист есмь аз, и прах прилепший от ног своих отрясаю пред вами, по писанному: „лучше един творяй волю Божию, нежели тьмы беззаконных!“ Так на меня и пуще закричали: „возьми его! — всех нас обесчестил!“ Да толкать и бить меня стали; и патриархи сами на меня бросились, человек их с сорок, чаю, было, — велико антихристово войско собралось! Ухватил меня Иван Уаров да потащил. И я закричал: „постой, — не бейте!“ Так они все отскочили. И я толмачю-архимариту Денису говорить стал: „говори патриархам: апостол Павел пишет: „таков нам подобаше архиерей, преподобен, незлобив“, и прочая; а вы, убивше человека, как литоргисать**** станете?“ Так они сели. И я отшел ко дверям да набок повалился: „посидите вы, а я полежу“, говорю им. Так они смеются: „дурак-де протопоп! и патриархов не почитает!“ И я говорю: мы уроди Христа ради; вы славни, мы же бесчестни; вы сильни, мы же немощны! Потом паки ко мне пришли власти и про аллилуия стали говорить со мною. И мне Христос подал — посрамил в них римскую ту блядь Дионисием Ареопагитом, как выше сего в начале реченно. И Евфимей, чудовской келарь, молыл: „прав-де ты, — нечева-де нам больши тово говорить с тобою“. Да и повели меня на чепь.

Потом полуголову царь прислал со стрельцами, и повезли меня на Воробьевы горы; тут же священника Лазоря и инока Епифания старца; острижены и обруганы, что мужички деревенские, миленькие! Умному человеку поглядеть, да лише заплакать, на них глядя. Да пускай их терпят! Что о них тужить? Христос и лутче их был, да тож ему, свету нашему, было от прадедов их, от Анны и Каиафы; а на нынешних и дивить нечева: с образца делают! Потужить надобно о них, о бедных. Увы, бедные никонияня! погибаете от своего злаго и непокориваго нрава!

Потом с Воробьевых гор перевели нас на Андреевское подворье, таже в Савину слободку. Что за разбойниками, стрельцов войско за нами ходит и срать провожают; помянется, — и смех и горе, — как то омрачил дьявол! Таж к Николе на Угрешу; тут государь присылал ко мне голову Юрья Лутохина благословения ради, и кое о чем много говорили.

Таже опять ввезли в Москву нас на Никольское подворье и взяли у нас о правоверии еще сказки. Потом ко мне комнатные люди многажды присыланы были, Артемон и Дементей, и говорили мне царевым глаголом: „протопоп, ведаю-де я твое чистое и непорочное и Богоподражательное житие, прошу-де твоео благословения и с царицею и с чады, — помолися

* албанцы

** румыны

*** турецкого

**** совершать литургию

о нас!“ Кланяючись, посланник говорит. И я по нем всегда плачу; жаль мне сильно его. И паки он же: „пожалуй-де послушай меня: соединишь со вселенскими теми хотя небольшим чем!“ И я говорю: „аще и умрети ми Бог изволит, с отступниками не соединяюсь! Ты, — реку, — мой царь; а им до тебя какое дело? Своево, — реку, — царя потеряли, да и тебя проглотить сюды приволоклися! Я, — реку, — не сведу рук с высоты небесная, дондеже Бог тебя отдаст мне“. И много тех присылок было. Кое о чем говорено. Последнее слово рек: „где-де ты не будешь, не забывай нас в молитвах своих!“ Я и ныне, грешной, елико могу, о нем Бога молю.

Таже, братию казня, а меня не казня, сослали в Пустозерье. И я из Пустозерья послал к царю два послания: первое невелико, а другое больши. Кое о чем говорил. Сказал ему в послании и Богознамения некая, показанная мне в темницах; тамо чтый да разумеет. Еще же от меня и от брата дьяконово снискание* послано в Москву, правоверным гостинца, книга „Ответ православных“ и обличение на отступническую блудню. Писано в ней правда о догматах церковных. Еще же и от Лазаря священника посланы два послания царю и патриарху. И за вся сия присланы к нам гостинцы: повесили на Мезени в дому моем двух человек, детей моих духовных, — преждедеченного Феодора юродиваго да Луку Лаврентьевича, рабов Христовых. Лука та московской жилец, у матери-вдовы сын был одиночаден, усмарь** чином, юноша лет в полтретьятцеть; приехал на Мезень по смерть с детьми моими. И егда бысть в дому моем всегубительство, спросил его Пилат: „как ты, мужик, крестишься?“ Он же отвеща смиренномудро: „я так верую и крещуся, слагая персты, как отец мой духовной, протопоп Аввакум“. Пилат же повеле его в темницу затворити, потом, положи петлю на шею, на релех*** повесил. Он же от земных на небесная възде. Больши тово что ему могут сделать? Аще и млад, да по старому сделал: пошел себе ко владыке. Хотя бы и старой так догадался! В те жо поры и сынов моих родных двоих, Ивана и Прокопья, велено ж повесить; да оне, бедные, оплошали и не догадались венцов победных ухватити: испужався смерти, повинились. Так их и с матерью троих в землю живых закопали. Вот вам и без смерти смерть! Кайтесь, сидя, дондеже дьявол иное что умыслит. Страшна смерть: недивно! Некогда и друг ближний Петр отречеся и, ишед вон, плакася горько и слез ради прощен бысть. А на робят и дивить нечева: моего ради согрешения попущено им изнеможение. Да уж добро; быть тому так! Силен Христос всех нас спасти и помиловати.

Посем той же полуголова Иван Елагин был и у нас в Пустозерье, приехав с Мезени, и взял у нас сказку. Сице реченно: год и месяц, и паки: „Мы святых отец церковное предание держим неизменно, а палестинскаго патриарха Паисея с товарищи еретическое соборище проклинаем“. И иное там говорено много, и Никону, заводчику ересем, досталось небольшое место. Потом привели нас к плахе и, прочет наказ, меня отвели, не казня, в темницу. Чли в наказе: Аввакума посадить в землю в струбе и давать ему воды и хлеба. И я сопротив тово плюнул и умереть хотел, не едши, и не ел дней с восемь и больши, да братья паки есть велели.

Посем Лазаря священника взяли и язык весь вырезали из горла; мало попошло крови, да и перестала, Он же и паки говорит без языка. Таже, положи правую руку на плаху, по запястье отсекали, и рука отсеченная, на земле лежа, сложила сама персты по преданию и долго лежала так пред народы; исповедала, бедная, и по смерти знамение Спасителево неизменно. Мне-су и самому сие чудно: бездушная одушевленных обличает! Я на третей день у него во рте рукою моею щупал и гладил: гладко все, — без языка, а не болит. Дал Бог, во временне часе исцелело. На Москве у него резали: тогда осталось языка, а ныне весь без остатку резан; а говорил два годы чисто, яко и с языком. Егда исполнилися два годы, иное чудо: в три дни у него язык вырос совершенной, лишь маленько тупенек, и паки говорит, беспрестанно хваля Бога и отступников порицая.

* изыскание, сочинение

** кожевник, скорняк

*** на перекладине

Посем взяли соловецкаго пустычника, инока-схимника Епифания старца, и язык вырезали весь же; у руки отсекли четыре перста. И сперва говорил гугниво*. Посем молил пречистую Богоматерь, и показаны ему оба языки, московский и здешней, на воздухе; он же, един взяв, положил в рот свой, и с тех мест стал говорить чисто и ясно, а язык совершен обретется во рте. Дивны дела Господня и неизреченны судьбы владычни! — и казнить попускает, и паки целит и милует! Да что много говорить? Бог — старой чудотворец, от небытия в бытие приводит. Во се петь в день последний всю плоть человею во мгновении ока воскресит. Да кто о том рассудити может? Бог бо то есть: новое творит и старое поновляет. Слава Ему о всем!

Посем взяли дьякона Феодора; язык вырезали весь же, оставили кусочик небольшой во рте, в горле накость** резан; тогда на той мере и зажил, а после и опять со старой вырос и за губы выходит, притуп маленько. У него же отсекли руку поперег ладони. И все, дал Бог, стало здорово, — и говорит ясно против прежнева и чисто.

Таже осыпали нас землею: струб в земле, и паки около земли другой струб, и паки около всех общая ограда за четырьмя замками; стражие же пре[д] дверьми стражаху темницы. Мы же, здесь и везде сидящие в темницах, поем пред владыкою Христом, сыном Божиим, песни песням, их же Соломан воспе, зря на мать Вирсавию: се еси добра прекрасная моя, се еси добра любимая моя, очи твои горят, яко пламя огня; зубы твои белы паче млека; зрак лица твоего паче солнечных лучь, и вся в красоте сияешь, яко день в силе своей. (Хвала о церкви.)

Таже Пилат, поехав от нас, на Мезени достроя, возвратился в Москву. И прочих наших на Москве жарили да пекли: Исаию сожгли, и после Авраамия сожгли, и иных поборников церковных многое множество погублено, их же число Бог изочтет. Чудо, как то в познание не хотят прийти: огнем, да кнутом, да виселицею хотят веру утвердить! Которые-то апостоли научили так? — не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолом так учить, еже бы огнем, да кнутом, да виселицею в веру приводить. Но Господем реченно ко апостолам сице: „шедше в мир весь, проповедите Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет“. Смотри, слышателю, волею зовет Христос, а не приказал апостолом непокоряющихся огнем жечь и на виселицах вешать. Татарской Бог Магмет написал во своих книгах сице: „непокаряющихся нашему преданию и закону повелеваем главы их мечем подклонити“. А наш Христос ученикам своим никогда так не повелел. И те учителя явны яко шиши*** антихристовы, которые, приводя в веру, губят и смерти предают; по вере своей и дела творят таковы же. Писано во Евангелии: „не может древо добро плод зол творити, ниже древо зло плод добр творити“: от плода бо всяко древо познано бывает. Да што много говорить? аще бы не были борцы, не бы даны быша венцы. Кому охота венчатца, не по што ходить в Персиду, а то дома Вавилон. Ну-тко, правоверне, нарцы имя Христово, стань среди Москвы, прекрестися знаменем спасителя нашего Христа, пятью персты, яко же прияхом от святых отец: вот тебе царство небесное дома родилось! Бог благословит: мучься за сложение перст, не рассуждай много! А я с тобою за сие о Христе умрети готов. Аще я и не смыслея гораздо, неуча**** человек, да то знаю, что вся в церкви, от святых отец преданная, свята и непорочна суть. Держу до смерти, яко же приях; не прелагаю предел вечных, до нас положено: лежи оно так во веки веком! Не блуди, еретик, не токмо над жертвою Христовою и над крестом, но и пелены не шевели. А то удумали со дьяволом книги перепечатать, вся переменить — крест на церкви и на просвирах переменить, внутрь олтаря молитвы иерейские откинули, ектеньи переменяли, в крещении явно духу лукавому молитца велят, — я бы им и с ним в глаза наплевал, — и около купели против солнца лукаво-ет их водит, такоже и, церкви свята, против солнца же и, брак венчав, против солнца же водят, — явно противно творят, — а в крещении и не отрицаются сатоны. Чему быть? — дети ево: коли отца своево отрицатися захотят! Да что

* картаво

** наискось

*** шпионы, соглядатаи

**** неученый

много говорить? Ох, правоверной душе! — вся горняя долу быша. Как говорил Никон, адов пес, так и сделал: „печатай, Арсен, книги как-нибудь, лишь бы не по старому!“ — так-су и сделал. Да больши тово нечим переменить. Умереть за сие всякому подобает. Будьте оне прокляты, окаянные, со всем лукавым замыслом своим, а страждущим от них вечная память трижды!

Посем у всякаго правовернаго прощения прошу: иное было, кажется, про житие то мне и не надобно говорить; да прочтох Деяния апостольская и Послания Павлова, — апостоли о себе возвещали же, егда что Бог соделает в них: не нам, Богу нашему слава. А я ничто ж есмь. Рекох, и паки реку: аз есмь человек грешник, блудник и хищник, тать и убийца, друг мытарем и грешникам и всякому человеку лицемерец окаянной. Простите же и молитесь о мне, а я о вас должен, чтущих и послушающих. Больши тово жить не умею; а что сделаю я, то людям и сказываю; пускай Богу молятся о мне! В день века вси жо там познают соделанная мною — или благая или злая. Но аще и не учен словом, но не разумом; не учен диалектики и риторики и философии, а разум Христов в себе имам, яко ж и Апостол глаголет: „аще и невежда словом, но не разумом“.

Простите, — еще вам про невежество свое побеседую. Ей, сглупал, отца своего заповедь преступил, и сего ради дом мой наказан бысть; внимай, Бога ради, како бысть. Егда еще я попом бысть, духовник царев, протопоп Стефан Вонифантьевич, благословил меня образом Филиппа митрополита да книгою святаго Ефрема Сирина, себя пользоваться, прочитая, и люди. Аз же, окаянный, презрев отеческое благословение и приказ, ту книгу брату двоюродному, по докуке ево, на лошедь променял. У меня же в дому был брат мой родной, именован Евфимей, зело грамоте горазд и о церкви велико прилежание имел; напоследок взят был к большой царевне вверх во псаломщики, а в мор и с женою скончался. Сей Евфимей лошедь сию поил и кормил и гораздо об ней прилежал, презирая правило многажды. И виде Бог неправду в нас с братом, яко неправо по истине ходим, — я книгу променял, отцову заповедь преступил, а брат, правило презирая, о скотине прилежал, — изволил нас владыко сице наказать: лошедь ту по ночам и в день стали беси мучить, — всегда мокра, заезжена, и еле жива стала. Аз же недоумеюся, коея ради вины бес так озлобляет нас. И в день недельный после ужины, в келейном правиле, на полунощнице, брат мой Евфимей говорил кафизму непорочную и завопил высоким гласом: „призри на мя и помилуй мя!“ — и, испустя книгу из рук, ударился о землю, от бесов поражен бысть, — начат кричать и вопить гласы неудобными, понеже беси ево жестоко начаша мучить. В дому же моем иные родные два брата — Козма и Герасим, больши ево, а не смогли удержать ево, Евфимия; и всех домашних человек с тридцать, держа ево, рыдают и плачут, вопиюще ко Владыке: „Господи помилуй, согрешили пред Тобою, прогневали Твою благостыню, прости нас, грешных, помилуй юношу сего, за молитв святых отец наших!“ А он пуци бесится, кричит, и дрожит, и бьется. Аз же, помощию Божию, в то время не смутихся от голки* тоя бесовския. Кончавше правило, паки начах молиться Христу и Богородице со слезами, глаголя: „владычице моя, пресвятая Богородице! покажи, за которое мое согрешение таковое ми бысть наказание, да, уразумев, каяся пред сыном твоим и пред тобою, впредь тово не стану делать!“ И, плачючи, послал во церковь по потребник** и по святую воду сына своего духовнаго Симеона — юноша таков же, что и Евфимей, лет в четырнадцать, дружно меж себя живуще Симеон со Евфимием, книгами и правилом друг друга подкрепляюще и веселящися, живуще оба в подвиге крепко, в посте и молитве. Той же Симеон, плакав по друге своем, сходил во церковь и принес книгу и святую воду. Аз же начах действовать над обуреваемым молитвы Великаго Василия с Симеоном: он мне строил кадило и свечи и воду святую подносил, а прочии держали беснующагося. И егда в молитве речь дошла: „аз ти о имени Господни повелеваю, душе немый и глухий, изыди от создания сего и ктому не вниди в него, но иди на пустое место, идеже человек не живет, но токмо Бог призывает“, — бес же не слушает, не идет из брата. И я паки ту же речь

* шум, мятеж

** требник — книга, содержащая изложение религиозных служб

в другоряд, и бес еще не слушает, пуши мучит брата. Ох, горе мне! Как молить? — и сором, и не смею; но по старцеву Епифаниеву повелению говорю; сице было: взял кадило, покадил образы и беснова и потом ударился о лавку, рыдав на много час. Восставше, ту же Василиеву речь закричал к бесу: „изыди от создания сего!“ Бес же скорчил в кольцо брата и, пружався*, изыде и сел на окошко; брат же быв яко мертв. Аз же покропил ево водою святою; он же, очхняся, перстом мне на беса, сидящего на окошке, показывает, а сам не говорит, связавшуся языку его. Аз же покропил водою окошко, и бес сошел в жерновый угол**. Брат же и там ево указывает. Аз же и там покропил водою, бес же оттоле пошел на печь. Брат же и там указывает. Аз же и там тою же водою. Брат же указал под печь, а сам перекрестился. И аз не пошел за бесом, но напоил святою водою брата во имя Господне. Он же, воздохня из глубины сердца, сице ко мне проглагола: „спаси Бог тебя, батюшко, что ты меня отнял у царевича и двух князей бесовских! Будет тебе бить челом брат мой Аввакум за твою доброту. Да и мальчику тому спаси Бог, которой в церковь по книгу и воду ту ходил, пособлял тебе с ними битца. Подобием он что и Симеон же, друг мой. Подле реки Сундовика меня водили и били, а сами говорят: нам-де ты отдан за то, что брат твой Аввакум на лошедь променял книгу, а ты-де ея любишь; так-де мне надобе брату поговорить, чтоб книгу ту назад взял, а за нея бы дал деньги двоюродному брату“. И я ему говорю: „я, — реку, — свет, брат твой Аввакум“. И он мне отвечал: „какой ты мне брат? Ты мне батько; отнял ты меня у царевича и у князей; а брат мой на Лопатищах живет, — будет тебе бить челом“. Аз же паки ему дал святые воды; он же и судно у меня отнимает и съесть хочет, — сладка ему бысть вода! Изошла вода, и я пополоскал и давать стал; он и не стал пить. Ночь всю зимнюю с ним простряпал. Маленько я с ним полежал и пошел во церковь заутреню петь; и без меня беси паки на него напали, но легче прежнева. Аз же, пришед от церкви, маслом ево посвятил, и паки бесы отыдоша, и ум цел стал; но дряхл бысть, от бесов изломан: на печь поглядывает и оттоля боится; егда куды отлучюся, а беси и наветовать ему станут. Бился я с бесами, что с собаками, недели с три за грех мой, дондеже взял книгу и деньги за нея дал. И ездил к другу своему Илариону игумну: он просвиру вынял за брата; тогда добро жил, — что ныне архиепископ резанской, мучитель стал христианской. И иным духовным я бил челом о брате, и умолили Бога о нас, грешных, и освобожден от бесов бысть брат мой. Таково то зло заповеди преступление отеческой! Что же будет за преступление заповеди Господня? Ох, да только огонь да мука! Не знаю, дни коротать как! Слабоумием объят и лицемерием и лжею покрыт есмь, братоненавидением и самолюбием одеян, во осуждении всех человек погибаю, и мняся нечто быти, а кал и гной есмь, окаянной — прямое говно! отвсюду воняю — душою и телом. Хорошо мне жить с собаками да со свиньями в конурах: так же и оне воняют, что и моя душа, злосмрадною вонюю. Да свиньи и псы по естеству, а я от грехов воняю, яко пес мертвой, повержен на улице града. Спаси Бог властей тех, что землею меня закрыли: себе уж хотя воняю, злая дела творяще, да иных не соблажняю. Ей, добро так!

Да и в темницу ту ко мне бешаной зашел, Кирилушко, московской стрелец, караульщик мой. Остриг его аз, и вымыл, и платье переменял, — зело вшей было много. Замкнуты мы с ним двое жили, а третей с нами Христос и пречистая Богородица. Он, миленькой, бывало серет и ссыт под себя, а я ево очищаю. Есть и пить просит, а без благословения взять не смеет. У правила стоять не захочет, — дьявол сон ему наводит, и я ево постегая четками, так и молитву творить станет и кланяется, за мною стоя. И егда правило скончаю, он и паки бесноватися станет. При мне беснуется и шалует, а егда к старцу пойду посидеть в ево темницу, а ево положу на лавке, не велю ему вставать и благословлю ево и, докамест у старца сижу, лежит, не встанет, Богом привязан, — лежа беснуется. А в головах у него образы и книги, хлеб и квас и прочая, а ничево без меня не тронет. Как прииду, так встанет, и дьявол, мне досаждая, блудить заставлявает. Я закричу, так и сядет. Егда стряпаю, в то время есть просит и украсть тщится до времени обеда; а егда пред обедом „Отче наш“ проговорю и благословлю, так тово брашна и

* напрягался

** место, где стоит ручной жернов, против дверей, рядом с красным углом

не ест, просит неблагословеннова. И я ему силою в рот напехаю, и он и плачет и глотает. И как рыбою покормлю, тогда бес в нем вздвигнется*, а сам из него говорит: „ты же-де меня ослабил!“ И я, плакався пред Владыкою, опять постом стягну и окрочу ево Христом. Таже маслом ево освятил, и отрадило ему от беса. Жил со мною с месяц и больши. Перед смертию образумился. Я исповедал ево и причастил, он же и преставился, миленькой, скоро. И я, гроб купя и саван, велел погребсти у церкви; попам сорокоуст** дал. Лежал у меня мертвой сутки, и я ночью, востав, помоля Бога, благословя ево, мертвова, и с ним поцеловався, опять подпе его спать лягу. Товарищ мой, миленькой, был! Слава Богу о сем! Ныне он, а завтра я так же умру.

Да у меня ж был на Москве бешаной, — Филиппом звали, — как я из Сибири выехал. В ызбе в углу прикован был к стене, понеже в нем бес был суров и жесток гораздо, бился и дрался, и не могли с ним домочадцы ладить. Егда ж аз, грешный, со крестом и с водою прииду, повинен бывает и, яко мертв, падает пред крестом Христовым и ничего не смеет надо мною делать. И молитвами святых отец сила Божия отгнала от него беса, но токмо ум еще несовершенно был. Феодор был над ним юродивый приставлен, что на Мезени веры ради Христовы отступники удавили, — Псалтырь над Филиппом говорил и учил его Исусовой молитве. А я сам во дни отлучашеся от дому, токмо в нощи действовал над Филиппом. По некоем времени пришел я от Феодора Ртищева зело печален, понеже в дому у него с еретиками шумел много о вере и о законе; а в моем дому в то время учинилося нестройство: протопопица моя со вдовою домочадицею Фетиньею меж собою побранились, — дьявол ссорил ни за што. И я, пришед, бил их обеих и оскорбил гораздо, от печали согрешил пред Богом и пред ними. Таже бес вздвигал в Филиппе, и начал чепь ломать, бесясь, и кричать неудобно. На всех домашних нападе ужас, и зело голка бысть велика. Аз же без исправления приступил к нему, хотя ево укротити; но не бысть по-прежнему. Ухватил меня и учал бить и драть и всяко меня, яко паучину, терзает, а сам говорит: „попал ты мне в руки!“ Я токмо молитву говорю, да без дел не пользует и молитва. Домашние не могут отнять, а я и сам ему отдался. Вижу, что согрешил: пускай меня бьет. Но, — чуден Господь! — бьет, а ничто не болит. Потом бросил меня от себя, а сам говорит: „не боюсь я тебя!“ Полежал маленько, с совестью собрался. Воставше, жену свою сыскал и пред нею стал прощатца*** со слезами, а сам ей, в землю кланяясь, говорю: „согрешил, Настасья Марковна, — прости мя, грешнаго!“ Она мне также кланяется. Посем и с Фетиниею тем же образом простился. Таже лег среди горницы и велел всякому человеку бить себя плетью по пяти ударов по окаянной спине: человек было с двадцеть, — и жена, и дети, все, плачючи, стегали. А я говорю: „аще кто бить меня не станет, да не имать со мною части во царствии небеснем!“ И они, нехотя бьют и плачют; а я ко всякому удару по молитве. Егда ж все отбили, и я, воставше, сотворил пред ними прощение. Бес же, видев неминуемую, опять вышел вон из Филиппа. И я крестом ево благословил, и он по-старому хорош стал. И потом исцелил Божию благодатию о Христе Исусе, Господе нашем, ему ж слава.

А егда я был в Сибири, — туды еще ехал, — и жил в Тобольске, привели ко мне бешанова, Феодором звали. Жесток же был бес в нем. Соблудил в велик день с женою своею, наругая праздник, — жена ево сказывала, — да и взбесился. И я, в дому своем держа месяца с два, стужал об нем Божеству, в церковь водил и маслом освятил, и помиловал Бог: здрав бысть, и ум исцеле. И стал со мною на крылосе петь в литоргию; во время переноса и досадил мне. Аз в то время, побив его на крылосе, и в притворе**** велел пономарю приковать к стене. И он, вышатав пробой, пущи и первова вбесясь, в обедню ушел на двор к большому воеводе и, сундуки разломав, платье княинино на себя вздел, а их розгонял. Князь же, осердясь, многими людьми в тюрьму ево оттащили; он же в тюрьме юзников бедных всех перебил и печь разломал. Князь

* взволновался

** заупокойная служба на сороковой день после смерти, а также плата священнику за такую службу

*** просить прощения

**** притвор — передняя церкви, паперть

же велел ево в деревню к жене и детям сослать. Он же, бродя в деревнях, великие пакости творил. Всяк бегаёт от него. А мне не дадут воеводы, осердясь. Я по нем пред Владыкою плакал всегда. Посем пришла грамота с Москвы, — велено меня сослать из Тобольска на Лену, великую реку. И егда в Петров день собрался в дощеник, пришел ко мне Феодор целоумен, на дощенике при народе кланяется на ноги мои, а сам говорит: „спаси Бог, батюшко, за милость твою, что помиловал мя. По пустыни-де я бежал третьева дни, а ты-де мне явился и благословил меня крестом, и беси-де прочь отбежали от меня, и я пришел к тебе поклонитца и паки прошу благословения от тебя“. Аз же, на него глядя, поплакал и возрадовался о величии Божии, понеже о всех нас печется и промышляет Господь: ево исцелил, а меня возвеселил! И поуча ево, благословя, отпустил к жене ево и детям в дом. А сам поплыл в ссылку, моля о нем Христа, сына Божия-света, да сохранит его и впредь от неприязни. А назад я едуци, спрашивал про него, и мне сказали: „преставился-де, после тебя годы с три живучи христиански с женою и детьми“. Ино добро, Слава Богу о сем!

Простите меня, старец с рабом тем Христовым: вы мя понудисте сие говорить. А однако уж развякался*, — еще вам повесть скажу. Как в попах еще был, там же, где брата беси мучили, была у меня в дому моем вдова молодая, — давно уж, и имя ей забыл, помнится, Офимьею звали, — ходит и стряпает, и все хорошо делает. Как станем в вечер начинать правило, так ея бес ударит о землю, омертвевает вся, яко камень станет, и не дышит, кажется, — ростянет ея среди горницы, и руки и ноги, — лежит яко мертва. И я, „О всепетую“ проговоря, кадилом покажу, потом крест положу ей на голову и молитвы Василиевы в то время говорю: так голова под крестом и свободна станет, баба и заговорит; а руки и ноги и тело еще мертво и каменно. И я по руке поглажу крестом, так и рука свободна станет; я — и по другой, и другая так же освободится; я — и по животу, так баба и сядет. Ноги еще каменны. Не смею туда крестом гладать, — думаю, думаю, — и ноги поглажу, баба и вся свободна станет. Вставше, Богу помолясь, да и мне челом. Прокуда-таки** — ни бес, ни што был в ней, много времени так в ней играл. Маслом ея освятил, так вовсе отшел прочь: исцелела, дал Бог. А иное два Василия у меня бешаные бывали прикованы, — странно и говорить про них: кал свой ели.

А еще сказать ли тебе, старец, повесть? Блазновато, кажется, — да было так. В Тобольске была у меня девица, Анною звали, дочь моя духовная, гораздо о правиле прилежала о церковном и о келейном и вся мира сего красоту вознебрегла. Позавиде диявол добродетели ея, наведе ей печаль о первом хозяине своем Елизаре, у него же возросла, привезена из полону из кумыков***. Чистотою девство соблюла, и, егда исполнилася плодов благих, дьявол окрал: захотела от меня отыти и за первова хозяина замуж пойти, и плакать стала всегда. Господь же пустил на нея беса, смиряя ея, понеже и меня не стала слушать ни в чем и о поклонех не стала радеть. Егда станем правило говорить, она на месте станет, прижав руки, да так и простоит. Виде Бог противление ея, послал беса на нея: в правиле стоящу ей, да и взбесится. И мне, бедному, жаль: крестом благословлю и водою покроплю, так и отступит от нея бес. И многажды так бысть. Она же единаче в безумии своем и непокорстве пребывает. Благодитрый же Бог инако ея наказал: задремала в правило, да и повалилась на лавке спать, и три дни и три ночи не пробудясь спала. Я лишю ея по времяном кажу, спящую: тогда-сегда дохнет. Чаю, умрет. И в четвертый день очнулась; села, да плачет; есть ей дают — не ест. Егда я правило канонное скончав и домочадцев, благословя, распустил, паки начях во тьме без огня поклоны класть; она же с молитвою втай приступила ко мне и пала на ноги мои; и я, от нея отшед, сел за столом. И она, приступя паки к столу и плачючи, говорит: „послушай, государь, велено тебе сказать“. Я стал слушать у нея. „Егда-де я в правило задремала и повалилась, приступили ко мне два ангела и взяли меня и вели меня тесным путем. И на левой стране слушала плач, и рыдание, и гласы умиленны. Потом-де меня привели во светлое место, зело гораздо красно, и показали-

* (развякался) разболтался

** прокуда — порча, вред, колдовство

*** кумыки — татарское племя, населявшее Кумыкскую плоскость на Северном Кавказе

де многие красные жилища и полаты; и всех-де краше полата, неизреченною красотой сияет паче всех и велика гораздо. Ввели-де меня в нея; ано-де стоят столы, и на них послано бело, и блюда с брашнями стоят. По конец-де стола древо кудряво повеваает и красотами разными украшено; в древе-де том птичьи гласы слышала я, а топерва-де не могу про них сказать, каковы умильны и хороши! И подержав-де меня, паки из полаты повели, а сами говорят: знаешь ли, чья полата сия? И аз-де отвечала: не знаю, пустите меня в нея. Оне же отвечали: отца твоего, протопопа Аввакума, полата сия. Слушай ево и живи так, как он тебе наказывает персты слагать, и креститца, и кляняца, Богу молясь, и во всем не противься ему, так и ты будешь с ним здесь. А буде не станешь слушать, так будешь в давешнем месте, где плакание то слышала. Скажи же отцу твоему. Мы не беси водили тебя; смотри: у нас папарты*; беси-де не имеют тово. И я-де, батюшко, смотрела, — бело у ушей тех их“. Да и поклонилася мне, прощения прося. Потом паки исправилася во всем. Егда меня сослали из Тобольска, и я оставил ея у сына духовнаго тут. Хотела постригтися, а дьявол опять сделал по-своему: пошла за Елизара замуж и деток прижила. И по осьми летех услышала, что я еду назад, отпросилася у мужа и постриглася. А как замужем была, по временам Бог наказывал, — бес мучил ея. Егда ж аз в Тоболеск приехал, за месяц до меня постриглася и принесла ко мне два детища и, положя предо мною робятишок, плакала и рыдала, кающася, бесстыдно порицая себя. Аз же, пред человеки смиряя ея, многажды на нея кричал; она же прощася в преступлении своем, каяся пред всеми. И егда гораздо ея утрудил, тогда совершенно простил. В обедню за мною в церковь вошла. И нападе на нея бес во время переноса, — учала кричать и вопить, собакою лаять, и козою блекотать, и кокушкою коковать. Аз же сжалихся об ней: покиня херувимскую песть, взявше от престола крест и, на крылос взошед, закричал: „запрещаю ти именем Господним; полно, бес, мучить ея! Бог простит ея в сий век и в будущий!“ Бес же изыде из нея. Она же притече ко мне и пала предо мною за ню же вину. Аз же крестом благословя, и с тех мест простил, и бысть здрава душею и телом. Со мною и на Русь выехала. И как меня стригли, в том году страдала с детьми моими от Павла митрополита на патриархове дворе веры ради и правости закона. Довольно волочили и мучили ея. Имя ея во иноцех Агафья.

Ко мне же, отче, в дом принашивали матери деток своих маленьких, скорбию одержимых грыжною; и мои детки егда скорбели во младенчестве грыжною болезнию, и я маслом священным, с молитвою пресвитерскою, помажу вся чюства и, на руку масла положя, младенцу спину вытру и шульнятка**, и Божию благодатию грыжная болезнь и минуется во младенце. И аще у коего отрыгнет скорбь, и я так же сотворю, и Бог совершенно исцеляет по своему человеколюбию.

А егда еще я был попом, с первых времен, как к подвигу касатися стал, бес меня пуживал сице. Изнемогла у меня жена гораздо, и приехал к ней отец духовной; аз же из двора пошел по книгу в церковь ноши глубоко, по чему исповедать ея. И егда на паперть пришел, столик до тово стоял, а егда аз пришел, бесовским действием скачет столик на месте своем. И я, не устрасась, помолясь пред образом, осенил рукою столик и, пришед, поставил ево, и перестал играть. И егда в трапезу вошел, тут иная бесовская игра: мертвец на лавке в трапезе во гробу стоял, и бесовским действием верхняя раскрылася доска, и саван шевелитца стал, устрасая меня. Аз же, Богу помолясь, осенил рукою мертвеца, и бысть попрержнему все. Егда ж в олтарь вошел, ано ризы и стихари*** летают с места на место, устрасая меня. Аз же, помолясь и поцеловав престол, рукою ризы благословил и пощупал, приступая, а оне по-старому висят. Потом, книгу взяв, из церкви пошел. Таково-то ухищрение бесовское к нам! Да полно тово говорить. Чево крестная сила и священное масло над бешаными и больными не творит Божиею благодатию! Да нам надобе помнить сие: не нас ради, ни нам, но имени Своему славу Господь дает. А я, грязь, что могу сделать, аще не Христос? Плакать мне подобает о себе. Июда

* крылья

** почки

*** облачение священнослужителей и церковнослужителей

чюдотворец был, да сребролюбия ради ко дьяволу попал. И сам дьявол на небе был, да высокоумия ради свержен бысть. Адам был в раю, да сластолюбия ради изгнан бысть и пять тысяч пять сот лет во аде был осужден. Посем разумея всяк, мняйся стояти, да блюдется, да ся не падет. Держись за Христовы ноги и Богородице молись и всем святым, так будет хорошо.

Ну, старец, моево вяканья* много ведь ты слышал. О имени Господни повелеваю ти, напиши и ты рабу тому Христову, как Богородица беса тово в руках тех мяла и тебе отдала, и как муравьи те тебя ели за тайно-ет уд**, и как бес-от дрова те сожег и как келья та обгорела, а в ней цело все, и как ты кричал на небо то, да иное, что вспомиишь во славу Христу и Богородице. Слушай же, что говорю: не станешь писать, я петь осержусь. Любил слушать у меня, чево соромитца, — скажи хотя немножко! Апостол Павел и Варнава на соборе сказывали же во Еросалиме пред всеми, елика сотвори Бог знамения и чюдеса во языцех с нима, в Деяниях, зач. 36 и 42 зач., и величашеся имя Господа Исуса. Мнози же от веровавших прихождаху исповедующе и сказующе дела своя. Да и много тово найдется во Апостоле и в Деяниях. Сказывай, небось, лише совесть крепку держи; не себе славы ища, говори, но Христу и Богородице. Пускай раб-от Христов веселится, чтучи! Как умрем, так он почтет, да помянет пред Богом нас. А мы за чтущих и послушающих станем Бога молить; наши оне люди будут там у Христа, а мы их во веки веком. Аминь.



Место казни — сожжения — протоппа Аввакума сегодня

* болтовни

** член